

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://herzenalexander.ru/> Приятного чтения!

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен

<ГЛАВА I>. АПОГЕЙ И ПЕРИГЕЙ. (1858-1862)

I

...Часов в десять утра я слышу снизу густой и недовольный голос:

- Me дит комса колонель рюс её вуар.

- Monsieur ne recoit jamais le matin et...

- Же пар демен.

- Et vorte nom, monsieur...

- Mais ву дире колонель рюс1, - и полковник прибавил голосу.

Жюль был в великом затруднении. Я спросил сверху, подошедши к лестнице:

- Quest ce qui1 у а?

- Се ву? - спросил полковник.

- Oui, cest moi2.

- Велите, батюшка, пустить. Ваш слуга не пускает.

- Сделайте одолжение, взойдите. Несколько рассерженный вид полковника прояснился, и он, вступая вместе со мной в кабинет, вдруг как-то приосанился и сказал: (273)

- Полковник такой-то; находясь проездом в Лондоне, поставил за обязанность явиться.

Я тотчас почувствовал себя генералом и, указывая на стул, прибавил:

- Садитесь. Полковник сел.

- Надолго здесь?

- До завтрашнего числа-с.

- И давно приехали?

- Трое суток-с.

- Что же так мало погостили?

- Видите, здесь без языка-с, оно дико, точно в лесу. Душевно желал вас лично увидеть, благодарить от себя и от многих товарищей. Публикации ваши очень полезны: и правды много, и иногда животы надорвешь.

- Чрезвычайно вам благодарен, это - единственная награда на чужбине. И много получают у вас наших изданий?

- Много-с... Да ведь сколько и лист-то каждый читают, до дыр-с, до клочий читают и зачитывают, есть охотники - даже переписывают. Соберемся так, иногда, читать, ну и критикуем-с... Вы, надеюсь, позвольте с откровенностью военного и искренно уважающего человека?

- Сделайте одолжение, нам-то уж не приходится восставать против свободы слова.

- Мы так между собою часто говорим; польза большая в ваших обличениях; сами знаете, что скажешь у нас о Сухозанете, примерно, - держи язык за зубами; или вот об Адлерберге? Но, видите, вы давно оставили Россию, вы слишком ее забыли, и нам все кажется, что больно много напираете на крестьянский вопрос... не

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru созрел...

- Будто?

- Ей, ей-с... Я совершенно согласен с вами, помилуйте, та же душа, образ, подобие божие... и все это, поверьте, теперь видят многие, но торопиться нельзя, преждевременно.

- Вы думаете?

- Полагаю-с... Ведь наш мужик - страшный лентяй... Он, пожалуй, и добрый малый - но пьяница и лентяй... Освободи его сразу - работать перестанет, полей не засеет, просто с голоду умрет. (274)

- Да вам-то что же за забота? Ведь вам, полковник, никто не поручал продовольствие народа русского...

Из всех возможных и невозможных возражений полковник наименьше ждал того, которое я ему сделал.

- Оно, конечно-с, с одной стороны...

- Да вы не бойтесь с другой; ведь не в самом деле он умрет с голоду оттого, что хлеб сеять будет не для барина, а для себя?

- Вы меня извините, я счел долгом сказать... Мне кажется, впрочем, я слишком много отнимаю у вас вашего драгоценного времени... Позвольте откланяться.

- Покорнейше благодарю за посещение.

- Помилуйте, не беспокойтесь, у е мон каб?1 далеконько живете-с.

- Не близко.

Я хотел этой великолепной сценой начать эпоху нашего цветения и преуспеяния. Такие и подобные сцены повторялись беспрерывно; ни страшная даль, в которой я жил от Вест-Энда - в Путнее, Фуламе... ни постоянно запертые двери по утрам - ничего не помогало. Мы были в моде.

Кого и кого мы ни видали тогда!.. Как многие дорого заплатили бы теперь, чтоб стереть из памяти, если не своей, то людской, свой визит... Но тогда, повторяю, мы были в моде, и в каком-то гиде туристов я был отмечен между достопримечательностями Путнея.

Так было от 1857 до 1863, но прежде было не так. По мере того как росла после 1848 и утверждалась реакция в Европе, а Николай свирепел не по дням, а по часам, русские начали избегать меня и побаиваться... К тому же в 1851 стало известно, что я официально отказался ехать в Россию. Путешественников тогда было очень мало. Изредка являлся кто-нибудь из старых знакомых, рассказывал страшные, уму непостижимые вещи, с ужасом говорил о возвращении и исчезал, осматриваясь, нет ли соотечественника. Когда в Ницце ко мне приехал в карете и с лон-лакеем А. И. Сабуров, я сам смотрел на это, как на геройский подвиг. Проезжая тайком Францию в 1852, я в Париже встретил кой-кого из (275) русских, это были последние. В Лондоне не было никого. Проходили недели, месяцы...

Ни звука русского, ни русского лица².

Писем ко мне никто не писал. М. С. Щепкин был первый сколько-нибудь близкий человек из дома, с которым я увидался в Лондоне. О свидании с ним я рассказывал в другом месте³. Его приезд был для меня чем-то вроде родительской субботы, мы справляли с ним поминки всему московскому, и самое настроение обоих было какое-то похоронное. Настоящим голубем ковчега с маслиной во рту был не он, а доктор В - ский.

Он был первый русский, приехавший к нам после смерти Николая, в Чомле-Лодж в Ричмонде, постоянно удивляясь, что она называется так, а пишется Chol-mondeley Lodge⁴. Вести, привезенные Щепкиным, были мрачны; он сам был в печальном настроении. В - ский смеялся с утра до вечера, показывая свои белейшие зубы;

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru вести его были полны той надежды, того "сангвинизма", как говорят англичане, который овладел Россией после смерти Николая и сделал светлую полосу на суровом фоне петербургского императорства. Правда, он же привез плохие новости о здоровье Грановского и Огарева, но и это терялось в яркой картине проснувшегося общества, которого он сам был образчиком.

С какой жадностью слушал я его рассказы, переспрашивал, добивался подробностей... Я не знаю, знал ли он тогда, или оценил ли после то безмерное добро, которое он мне .сделал.

Три года лондонской жизни утомили меня. Работать, не видя близкого плода, тяжело, к тому же я слишком разобщенно стоял со всякой родственной средой. Печатаю с Чернецким лист за листом и сыпая груды отпечатанных брошюр и книг в подвалы Трюб(276)нера, я почти не имел возможности переслать что-нибудь за русскую границу. Не продолжать я не могу:

русский станок был для меня делом жизни, доской из отчего дома, которую переносили с собой древние германы; с ним я жил в русской атмосфере, с ним был готов и вооружен. Но при всем том глухо пропадавший труд утомлял, руки опускались. Вера слабела минутами и искала знамений, и не только их не было, но не было ни одного слова сочувствия из дома.

С Крымской войной, с смертью Николая, настает другое время, из-за сплошного мрака выступают новые массы, новые горизонты, чуялось какое-то движение;

разглядеть издали было трудно, - очевидец был необходим. Он-то и явился в лице В - ского, подтвердившего, что эти горизонты не мираж, а быль, что барка тронулась, что она на ходу. Стоило взглянуть на светлое лицо его... чтоб ему поверить. - Таких лиц вовсе не было в последнее время в России...

Удрученный непривычным для русского чувством, я вспомнил Канта, снявшего бархатную шапочку при вести о провозглашении республики 1792 года и повторившего "ныне отпускаеши" Симеона-богоприимца. Да, хорошо уснуть на заре... после длинной ненастной ночи, с полной верой, что настает чудесный день!

Так умер Грановский...

... Действительно, наставало утро того дня, к которому стремился я с тринадцати лет - мальчиком в камлотовой куртке, сидя с таким же "злоумышленником" (только годом моложе) в маленькой комнате "старого дома" в университетской аудитории, окруженный горячим братством, в тюрьме и ссылке, на чужбине, проходя разгромом революций и реакций, на вершине семейного счастья и разбитый, потерянный на английском берегу с моим печатным монологом. Солнце, садившееся, освещая Москву под Воробьевыми горами⁵, и уносившее с собой отроческую клятву... выходило после двадцатилетней ночи.

Какой же тут покой и сон. За дело! и за дело я принялся с удвоенными силами. Работа не пропадала больше, не исчезала в глухом пространстве, громкие рукоплескания и горячие сочувствия неслись из Рос(277)сии. "Полярная звезда" читалась нарасхват. Непривычное ухо русское примирялось с свободной речью, с жадностью искало ее мужественную твердость, ее бесстрашную откровенность.

Весной 1856 приехал Огарев: год спустя (1 июля 1857) вышел первый лист "Колокола". Без довольно близкой периодичности нет настоящей связи между органом и средой. Книга остается - журнал исчезает, но книга остается в библиотеке, а журнал исчезает в мозгу читателя и до того усваивается им повторениями, что кажется ему его собственной мыслью. Если же читатель начнет забывать ее, новый лист журнала, никогда не боящийся повторений, подскажет и подновит ее.

Действительно, влияние "Колокола" в один год далеко переросло "Полярную звезду". "Колокол" в России был принят ответом на потребность органа, не искаженного ценсурой. Горячо приветствовало нас молодое поколение, были письма, от которых слезы навертывались на глазах.. Но и не одно молодое поколение поддержало нас...

"Колокол" - власть", - говорил мне в лондоне, *horribile dictu*⁶, Катков и прибавил, что он у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу... И прежде его повторяли то же и Тургенев, и Аксаков, и Самарин, и Кавелин, генералы из либералов, либералы из статских советников, придворные дамы

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru с жаждой прогресса и флигель-адъютанты с литературой; сам В. П. – постоянный, как подсолнечник, в своем поклонении всякой силе, умильно смотрел на "Колокол", как будто он был начинен трюфлями... Недоставало только для полного торжества – искреннего врага. Мы были в веме⁷, и долго ждать его не пришлось. Не прошел 1858 год, как явилось "обвинительное письмо" Чичерина. С высокомерным холодом несгибающегося доктринера, с roideur⁸ судии неумытного позвал он меня к ответу и, как Бирон, вылил мне в декабре месяце ушат холодной воды на голову. Приемы этого Сен-Жюста бюрократизма удивили меня. А теперь... через семь лет⁹ письмо ч. мне кажется цветом учти(278)вости после крепких слов и крепкого патриотизма михайловского времени. Да и общество было тогда иначе настроено, "обвинительный акт" возбудил взрыв негодования, нам пришлось унимать раздраженных друзей. Мы получали десятками письма, статьи, протесты. Самому обвинителю писали его прежние приятели поодиночке и коллективно письма, полные упреков, – одно из них было подписано общими друзьями нашими (из них три четверти ближе теперь к Ч., чем к нам), он сам с античной доблестью прислал это письмо для хранения в нашей оружейной палате.

Во дворце "Колокол" получил свое гражданство еще прежде. По статьям его государь велел пересмотреть дело "стрелка Кочубея", подстрелившего своего управляющего. Императрица плакала над письмом к ней – о воспитании ее детей, и говорят, что сам отважный статс-секретарь Бугков в припадке заносчивой самостоятельности повторял, что он ничего не боится; "жалуйтесь государю, делайте, что хотите, – пожалуй, пишите себе в "Колокол", мне все равно". Какой-то офицер, обойденный в повышении, серьезно просил нас напечатать об этом с особенным внушением государю. Анекдот Щепкина с Гедеоновым передан мною в другом месте, – таких анекдотов мог бы я рассказать десятков...¹⁰

...Горчаков с удивлением показывал напечатанный в "Колоколе" отчет о тайном заседании государственного совета по крестьянскому делу. "Кто же, говорил он, – мог сообщить им так верно подробности, как не кто-нибудь из присутствовавших?"

Совет обеспокоился и как-то между "Бутковым и государем" келейно потолковал, как бы унять "Колокол". Бескорыстный Муравьев советовал подкупить меня; жираф в андреевской ленте, Панин, предпочитал сманить на службу. Горчаков, игравший между этими "мертвыми душами" роль Мижужева, усомнился в моей продажности и спросил Панина:

– Какое же место вы предложите ему?

– Помощника статс-секретаря.

– Ну, в помощники статс-секретаря он не пойдет, – отвечал Горчаков, и судьбы "Колокола" были предоставлены воле божией. (279)

А воля божия ясно обнаружилась в ливне писем и корреспонденции из всех частей России. Всякий писал, что попало: один, чтобы сорвать сердце, другой, чтобы себя уверить, что он опасный человек... но были письма, писанные в порыве негодования, страстные крики в обличение ежедневных мерзостей. Такие письма выкупали десятки "упражнений", так, как иное посещение платило за все "колонель рюс".

Вообще балласт писем можно было разделить и письма без фактов, но с большим обилием души и красноречия, на письма с начальническим одобрением или с начальническими выговорами и, наконец, на письма с важными сообщениями из провинции.

Важные сообщения, обыкновенно писанные изящным канцелярским почерком, имели почти "всегда еще более изящное предисловие, исполненное возвышенных чувств и неотразимой лести, "Вы открыли новую эру русского слова и, так сказать, мысли; вы первый с высоты лондонского амвона стали гласно клеймить людей, тиранствующих над нашим добрым народом – ибо народ наш добрый, вы недаром его любите. Вы не знаете, сколько сердец бьются любовью и благодарностью к вам в дальней дали нашего отечества..."

От знойные Колхиды до льдов

...скромной Оки, Клязьмы или такой-то губернии. Мы на вас смотрим, как на единственного защитника. Кто может, кроме вас, обличить изверга – по званию и

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru месту, стоящего выше закона, – изверга вроде нашего председателя (казенной, уголовной, удельной палаты... имя, отчество, фамилия, чин). Человек, не получивший образования, допоздней из низменных сфер канцелярского служения до почестей, он сохранил всю грубость старинного крючкотвора, не отказываясь вовсе от благодарности, подписанной князем Хованским (как говорят у нас ставки). Грубость этого сатрапа известна во всех окольных губерниях, чиновники бегут казенной палаты, как окаянного места, он дерзок не только с нами, но и с столоначальниками. Жену свою он оставил и держит на содержании к общему соблазну вдову (имя, отчество, фамилия, чин покойного супруга), которую мы прозвали губернской Миной Ивановной, потому что ее руками все делается в палате. Пусть же звучный (280) голос "колокола" разбудит и испугает этого пашу среди оргий его, в преступных объятиях сорокалетней Иродиады. Если вы напечатаете об нем, мы готовы вам доставлять обильные сведения: у нас довольно "свиной в ермолках", как выразился бессмертный автор гениального "Ревизора".

P. S. С тем неподражаемым резцом, которым вы умеете писать ваши едкие сатиры, не забудьте черкнуть, что подполковник внутренней стражи 6 декабря, на бале у дворянского предводителя, – куда приехал от градского головы подшофе, к концу ужина так налился, что при сановитых дамах и их дочерях начал произносить слова, более свойственные торговой бане и площади, чем салону предводителя образованнейшего сословия в обществе".

Рядом с письмами, сообщавшими тайны поведения председателя и председателевой жены и явное пьянство подполковника, приходили письма чисто поэтические, бескорыстные и бессмысленные. Многие из них я уничтожил и раздарил друзьям, но некоторые остались, я ими непременно поделюсь с читателями в конце этой части.

Одно из лучших было (по-видимому) от молодого офицера, в самой первой эманциповке, оно начиналось с общих мест и с слов: "Милостивый государь" очень скромно и лестно... Мало-помалу пульс подымался, пошли советы, потом увещания... Жар возрастает. – На четвертой странице (большого формата) дружба наша дошла до того, что незнакомец говорил мне: "Милый мой и мои шер". "Оттого, – заключал храбрый офицер, – я и пишу тебе так откровенно, что люблю тебя от души". Читая это письмо, я так и вижу молодого человека, садящегося, поужинавши, за письмо и за бутылку чего-нибудь очень неслабого... По мере того как бутылка пустеет, сердце наполняется, дружба растет, и с последним глотком добрый офицер меня любит и исправляет, любит и хочет меня поцеловать... Офицер, офицер, оботрите только губы, и я не буду иметь ничего против нашей быстрой дружбы in cotumasciam11.

Впрочем, говоря об офицерах, я должен сказать, что самые симпатичные и здоровые духом люди из посещавших нас – офицеры. Молодые люди из невоенных (281) были по большей части непросты, нервны, очень поглощены делами своих литературных кружков и не выходили из них. Военные были скромнее и проще, они чувствовали за собой недостаточное воспитание кадетских корпусов и, как бы зная свою дурную репутацию, рвались вперед и старались чему-нибудь научиться., В сущности, они вовсе не были хуже приготовлены, чем другие, – и, по великому закону нравственных противодействий, под гнетом деспотизма корпусов воспитали в себе сильную любовь к независимости. В офицерском мире после Крымской войны начиналось серьезное движение, оно равно доказывалось и казенными, как Сливицкий, Арнгольдт... и убитыми, как Потеня, и сосланными на каторгу, как Красовский, Обручев и проч.

Конечно, многие и многие поворотили с тех пор оглобли и взошли в разум и в военный артикул, все это – дело обыкновенное...

Кстати, к ренегатам. Один молодой энтузиаст из офицеров, бывший у меня в одно время с благороднейшим и чистейшим Сераковским и двумя другими товарищами, прощаясь, вывел меня в сад и, крепко обнимая, сказал:

– Если вам понадобится когда-нибудь за чем-нибудь человек, преданный вам безусловно, вспомните обо мне...

– Сохраните себя и в своей груди те чувства, которыми вы полны, и пусть никогда вас не будет в рядах идущих против народа.

Он выпрямился. "Это невозможно!.. но... если вы услышите когда-нибудь что-нибудь такое обо мне, не щадите меня, пишите ко мне, пишите открыто и напомните этот

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
вечер..."

...Сераковский был уже раненый вздернут на виселицу, часть молодых людей, бывших в то же время в Лондоне, вышла в отставку, рассеялась... Одно имя встречалось мне только своими повышениями – имя моего энтузиаста. Недавно он на водах встретил одного старого знакомого – бранил Польшу, хвалил правительство, и, видя, что разговор не вяжется, генерал, спохватившись, сказал:

– А вы, кажется, все еще не забыли наших глупых фантазий в Лондоне... Помните беседы в Alpha road? Что за ребячество и что за безумие!

я не писал ему, – зачем? (282)

II

.....
...Между моряками были тоже отличные, прекрасные люди, и не только те славные юноши, о которых мае писал Ф. Капп из Нью-Йорка, но вообще между молодыми штурманами и гардемаринами веяло новой, свежей силой. Пример Трувеллера дополнит лучше всяких комментариев нашу мысль¹².

...У меня с морским ведомством было замечательное столкновение. Один капитан парохода бывал у меня с своим капитан-лейтенантом и другими офицерами и даже звал на свой пароход пировать какие-то именины. Дни за два до этого пира узнал я, что на его пароходе дали какому-то матросу сто линьков за тайком выпитое вино, другого матроса они приготавливались истязать за побег. Я написал капитану следующее письмо и послал его по почте на борт парохода:

"Милостивый государь,

вы были у меня, и я посещение ваше принял за знак сочувствия вашего к нашему труду, к нашим началам; (283) я и теперь не перестал так думать, а потому решился с вами откровенно объяснить насчет одного обстоятельства, сильно огорчившего нас и заставившего сомневаться в том, чтоб мы понимали друг друга.

На днях, говоря с г. Тхоржевским, я узнал от него, что на пароходе, находящемся под вашим начальством, матросы сильно наказываются линьками. Причем я слышал историю несчастного моряка, хотевшего бежать и схваченного английской полицией (по гнусному закону, делающему из матроса раба).

Здесь невольно возникает вопрос – неужели закон обязывает вас к исполнению свирепых его распоряжений, и какая ответственность лежала бы на вас, если б вы не исполнили требований, естественно противных всякому человеческому чувству? При всей дикой нелепости наших военных и морских постановлений, я не (284) помню, чтоб они под строгой ответственностью вменяли в обязанность телесно наказывать без суда, напротив, они стараются ограничить произвол начальнических наказаний, ограничивая число ударов. Остается предположить, что вы делаете эти истязания по убеждению, что они справедливы; но тогда подумайте, что же общего между нами, открытыми врагами всякого деспотизма, насилья и на первом плане телесных наказаний – и вами?

Если это так, как я должен объяснить ваше посещение?

Вам может показаться странным мое письмо – та нравственная сила, которую мы представляем, мало известна в России, но к ней надобно приучиться. Гласность будет стоять возле всех злоупотребляющих властью, и если их совесть долго не проснется, наш "колокол" будет служить будильником.

Дайте нам право надеяться, что вы не приведете нас к жесткой необходимости повторить наш совет печатно, и примите уверение, что Огарев и я – мы душевно были бы рады снова протянуть вам руку, но не можем этого сделать, пока она не бросит линька.

Park House, Fulham"

На это письмо капитан парохода отвечал:

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
"М. г. Ал. Ив., .

я получил ваше письмо и сознаюсь, что оно было для меня неприятно, не потому, чтоб я боялся встретить свое имя в "Колоколе", а собственно потому, что человек, которого я вполне почитаю, мог быть обо мне дурного мнения, которого я несколько не заслуживаю.

Если б вы знали сущность дела, о котором вы так горячо пишете, то, верно, не написали бы мне столько упреков. Я объясню вам все и представлю доказательства, которым вы поверите, если назначите мне время, когда и где могу вас увидеть.

Примите и пр. Green Drey Dock, Блакволь". (285)

Вот мой ответ:

"М. г.,

поверьте, что мне очень больно, что я должен был писать к вам о предмете, неприятном для вас, но вспомните, что вопрос об уничтожении телесных наказаний для нас имеет чрезвычайную важность.

Русский солдат, русский мужик только тогда вздохнут свободно и разовьются во всю ширь своей силы, когда их перестанут бить. Телесное наказание равно растлевет наказуемого и наказывающего, - отнимая у одного чувство человеческого достоинства, у другого чувство человеческого сожаления. Посмотрите на результат помещичьего права и полицейски-военных экзекуций. У нас образовалась целая каста палачей, целые семьи палачей - женщины, дети, девушки розгами и палками, кулаками и башмаками бьют дворовых людей.

Великие деятели 14 декабря так поняли важность этого, что члены общества обязывались не терпеть дома телесных наказаний и вывели их в полках, которыми начальствовали. Фонвизин писал полковому командиру, под влиянием Пестеля, приказ о постепенном выводе телесных наказаний.

Зло это так вкоренилось у нас, что его последовательно не выведешь, его надобно разом уничтожить, как крепостное состояние. Надобно, чтоб люди, поставленные, как вы, отдельными начальниками, взяли благородную инициативу. Это, может, будет трудно, - что же из этого? Тем больше славы. Если б я мог надеяться, что наша переписка приведет к этому результату, я благословил бы ее, это была бы для меня одна из высших наград - моя андреевская лента.

Еще слово. Вы говорите, что могли бы показать обстоятельства дела, то есть доказать, что наказание было справедливо. Это все равно. Мы не имеем права сомневаться в вашей справедливости. Да и что же бы было писать к вам, если б у вас матросы наказывались несправедливо? Телесные наказания и тогда надобно уничтожить, когда они по смыслу татарски-немецкого законодательства совершенно справедливы.

Позвольте мне быть уверенным, что вы видите всю чистоту моих намерений, и почему я адресовался к вам. Мне кажется, что вы можете сделать эту перемену у вас, (286) другие последуют, это будет великое дело. Вы покажете пример русским, что древнеславянская кровь больше сочувствует народным страданиям, чем Петербург.

Я сказал все, что было на сердце; дайте мне надежду, что слова мои сколько-нибудь западут в душу, и примите уверение в желании всего благого".

...На праздник я не поехал. Многие находили, что я очень хорошо сделал и что, несмотря на все доблести капитана и его лейтенанта, не надобно было класть пальца в рот, я этому не верю и никогда не верил. После 1862, конечно, я не поставил бы ноги на палубу русского корабля, но тогда еще не настаивал период муравьево-катковский.

Праздник не удался. Переписка наша все испортила. Говорят, что капитан не был главным виновником наказаний, а - капитан-лейтенант. Поздней ночью, после попойки он мрачно сказал: "Такая судьба; другие и не так дерут матросов, да все с рук сходит, а я в кои-то веки употребил меру построже да тотчас и попал в беду..."

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
...Так дошли мы до конца 1862 года.

В дальних горизонтах стали показываться дурные знамения и черные тучи... Да и вблизи совершилось великое несчастье, чуть ли не единственное политическое несчастье во всей нашей жизни.

III 1862

...Бьет тоже десять часов утра, и я также слышу посторонний голос, уж не воинственный, густой и строгий, а женский, раздраженный, нервный и немного со слезами. "Мне непременно, непременно нужно его видеть... Я не уйду, пока не увижу".

И затем входит молодая русская девушка или барышня, которую я прежде видел раза два.

Она останавливается передо мной, пристально смотрит мне в глаза; черты ее печальны, щеки горят; она наскоро извиняется и потом: (287)

- Я только что воротилась из России, из Москвы; ваши друзья, люди, любящие вас, поручили мне сказать вам, спросить вас... - она приостанавливается, голос ей изменяет.

Я ничего не понимаю.

- Неужели вы, - вы, которого мы любили так горячо, вы?..

- Да в чем же дело?

- Скажите, бога ради, да или нет, - вы участвовали в петербургском пожаре?

- Я?

- Да, да - вы, - вас обвиняют... по крайней мере говорят, что вы знали об этом злодейском намерении.

- Что за безумие, и вы это можете принимать так серьезно?

- Все говорят!

- Кто это все? Какой-нибудь Николай Филиппович Павлов? (Мое воображение в те времена дальше не шло!)

- Нет, люди близкие вам, люди страстно любящие вас, - вы для них должны оправдаться; они страдают, они ждут...

- А вы сами верите?

- Не знаю. Я затем и пришла, что не знаю; я жду от вас объяснения...

- Начните с того, что успокойтесь, сядьте и выслушайте меня. Если я тайно участвовал в поджогах, почему же вы думаете, что я бы вам сказал это так, по первому спросу? Вы не имеете права, основания мне поверить... Лучше скажите, где во всем писанном мною есть что-нибудь, одно слово, которое бы могло оправдать такое нелепое обвинение? Ведь мы не сумасшедшие, чтоб рекомендоваться русскому народу поджогом Толкучего рынка!

- Зачем же вы молчите, зачем не оправдываетесь публично? - заметила она, и в глазах ее было видно раздумье и сомнение. - Заклейте печатно этих злодеев, скажите, что вы ужасаетесь их, что вы не с ними, или...

- Или что? Ну, полноте-, - сказал я ей, улыбаясь, - играть роль Шарлотты Корде, у вас нет кинжала, и я сижу не в ванне. Вам стыдно, и нашим друзьям вдвое, верить такому вздору, а нам стыдно в нем оправдываться, да еще по дороге стараясь утопить и разобидеть каких-то нам совершенно незнакомых людей, которые теперь в руках тайной полиции и которые, очень может быть, столько же участвовали в пожарах, сколько и мы с вами.

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
- Так вы решительно не будете оправдываться?

- Нет.

- Что же я напишу туда?

- Да вот то, что мы с вами говорили.

Она вынула из кармана последний "колокол" и прочла: "Что за огненная чаша страданий идет мимо нас? Огонь ли это безумного разрушения, кара ли, очищающая пламенем? Что довело людей до этого средства и что эти люди? Какие тяжелые минуты для отсутствующего, когда, обращаясь туда, где вся любовь его, все, чем живет человек, он видит одно немое зарево".

- Страшные, темные строки, ничего не говорящие против вас и ничего за вас. Верьте мне, оправдывайтесь - или вспомните мои слова: друзья ваши и сторонники ваши вас оставят.

...Так, как колонель рюс был тамбур-мажором нашего успеха, так мирная Шарлотта Корде явилась провозвестницей нашего распада с общественным мнением, и притом в обе стороны. В то время как приподнявшие голову реакционеры называли нас извергами и зажигателями, часть молодежи прощалась с нами, как с отсталыми на дороге. Первых мы презирали, вторых жалели и печально ждали, как суровые волны жизни сгубят уплывших далеко, и только часть причалит назад к берегам.

Клевета росла и вскоре, подхваченная печатью, разошлась по всей России. Тогда только что начинался фискальный период нашей журналистики. Я живо помню удивление людей простых, честных, вовсе не революционеров перед печатными доносами, - это было совершенно ново для них. Обличительная литература круто повернула оружие и сразу перегнулась в литературу полицейских обысков и шпионских наушничаний.

В самом обществе произошел переворот. Освобождение крестьян отрезвило одних, другие просто устали от политической агитации; им захотелось прежнего покоя - сытость одолела ими перед обедом, который доставался с такими хлопотами. (289)

Нечего сказать, коротко у нас дыхание и длинна выносливость!

Семь лет либерализма истощили весь запас радикальных стремлений. Все накопившееся и сжатое в уме с 1825 года потратилось на восторги и радости, на предвкушение будущих благ. После усеченного освобождения крестьян слабым нервам казалось, что Россия далеко зашла, что она идет слишком быстро.

В то же время радикальная партия, юная и по тому самому теоретическая, начинала резче и резче высказываться, пугая без того испуганное общество. Она показывала казовым концом своим такие крайние последствия, от которых либералы и люди постепенного развития, крестьяне и отплевываясь, бежали, зажимая уши, и прятались под старое, грязное, но привычное одеяло полиции. Студентская опрометчивость и помещичья непривычка выслушивать других не могли не довести их до драки.

Едва призванная к жизни, сила общественного мнения обличилась в диком консерватизме, она заявила свое участие в общем деле, толкая правительство во все тяжкие террора и преследования.

Наше положение становилось труднее и труднее, Стоять на грязи реакции мы не могли, вне ее у нас пропадала почва. Точно потерянные витязи в сказках, мы ждали на перепутье. Пойдешь направо - потеряешь коня, но сам цел будешь; пойдешь налево - конь будет цел, но сам погибнешь; пойдешь вперед - все тебя оставят; пойдешь назад - этого уж нельзя, туда для нас дорога травой заросла. Хоть бы явился какой-нибудь колдун или пустынный, который бы снял с нас тяжесть раздумья...

По воскресеньям вечером собирались у нас знакомые, и преимущественно русские. В 1862 число последних очень увеличилось: на выставку приезжали купцы и туристы, журналисты и чиновники всех вообще отделений, и Третьего в особенности. Делать строгий выбор было невозможно; коротких знакомых мы предупреждали, чтоб они приходили в другой день. Благочестивая скука лондонского воскресенья побеждала осторожность.

Отчасти эти воскресенья и привели к беде. Но прежде чем я ее передам, я должен познакомить с двумя-(290)тремя экземплярами родной фауны нашей, являвшимися в скромной зале Orset Housea, наша галерея живых редкостей из России была, без всякого сомнения, замечательнее и занимательнее русского отдела на Great Exhibition¹³.

...В 1860 получаю я из одного отеля на Гай-Маркете русское письмо, в котором какие-то люди извещали меня, что они, русские, находятся в услужении князя Юрия Николаевича Голицына, тайно оставившего Россию; "Сам князь поехал на Константинополь, а нас отправил по" другой дороге. Князь велел дожидаться его и дал нам денег на несколько дней. Прошло больше двух недель - о князе ни слуха, деньги вышли, хозяин гостиницы сердится. Мы не знаем, что делать, по-английски никто не говорит". Находясь в таком беспомощном состоянии, они просили, чтоб я их выручил.

Я поехал к ним и уладил дело. Хозяин отеля знал меня и согласился подождать еще неделю.

Дней через пять после моей поездки подъехала к крыльцу богатая коляска, запряженная парой серых лошадей в яблоках. Сколько я ни объяснял моей прислуге, что, как бы человек ни приезжал, хоть цугом, и как бы ни назывался, хоть дюком, все же утром не принимать, - уважения к аристократическому экипажу и титулу я не мог победить. На этот раз встретились оба искусовые условия - и потому через минуту огромный мужчина, толстый, с красивым лицом ассирийского бога-вола - обнял меня, благодаря за мое посещение к его людям.

Это был князь Юрий Николаевич Голицын. Такого крупного, характеристического обломка всея России, такого specimen¹⁴ нашей родины я давно не видал.

Он мне сразу рассказал какую-то неправдоподобную историю, которая вся оказалась справедливой - как он давал кантонисту переписывать статью в "Колокол" и как он разошелся с своей женой, как кантонист донес на Вего, а жена не присылает денег, как государь его уславил на безвыездное житье в Козлов, вследствие чего он решился бежать за границу и поэтому увез с собой какую-то барышню, гувернанту, управляющего, регента, (291) горничную через молдавскую границу. В Галаце он захватил еще какого-то лакея, говорившего ломаным языком на пяти языках и показавшегося ему шпионом... Тут же объявил он мне, что он страстный музыкант и будет давать концерты в Лондоне; а потому хочет познакомиться с Огаревым.

- Дорого у вас здесь в Англии б-берут на таможне, - сказал он, слегка заикаясь, окончив курс своей

всеобщей истории.

- За товары, может, - заметил я, - а к путешественникам custom-house¹⁵ очень снисходителен.

- Не скажу - я заплатил шиллингов пятнадцать за крок-кодила.

- Да это что такое?

- Как что - да просто крок-кодил. Я сделал большие глаза и спросил его:

- Да вы, князь, что же это: возите с собой крокодила вместо паспорта стращать жандармов на границах?

- Такой случай. Я в Александрии гулял; а тут какой-то арабчонок продает крокодила - понравился, я и купил.

- Ну, а арабчонка купили?

- Ха, ха - нет.

Через неделю князь был уже инсталлирован¹⁶, в Porches-ter terrace, то есть в очень дорогой части города, в большом доме. Он начал с того, что велел на веки вечные, вопреки английскому обычаю, открыть настежь ворота и поставил в вечном ожидании у подъезду пару серых лошадей в яблоках. Он зажил в Лондоне, как в

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Козлове, как в Тамбове.

Денег у него, разумеется, не было, то есть были несколько тысяч франков на афишу и заглавный лист лондонской жизни; их он тотчас истратил, но пыль в глаза бросил и успел на несколько месяцев обеспечить, благодаря английской тупоумной доверчивости, от которой иностранцы всего континента не могут еще поднесь отучить их.

Но князь шел на всех парах... Начались концерты. Лондон был удивлен княжеским титулом на афише, и (292) во второй концерт зала была полна (St. James Hall, Piccadilly). Концерт был великолепный. Как Голицын успел так подготовить хор и оркестр, это его тайна – но концерт был совершенно из ряда вон. Русские песни и молитвы, "Камаринская" и обедня, отрывки из оперы Глинки и из евангелия ("Отче наш") – все шло прекрасно.

Дамы не могли налюбоваться колоссальными мясами красивого ассирийского бога, величественно и грациозно поднимавшего и опускавшего свой скипетр из слоновой кости. Старушки вспоминали атлетические формы императора Николая, победившего лондонских дам всего больше своими обтянутыми лосинными, белыми, как русский снег – кавалергардскими collants¹⁷.

Голицын нашел средство и из этого успеха сделать себе убыток. Упоенный рукоплесканиями, он послал в конце первой части концерта за корзиной букетов (не забывайте лондонские цены) и перед началом второй части явился на сцену; два ливрейных лакея несли корзину, князь, благодаря певиц и хористок, каждой поднес по букету, Публика приняла и эту галантерейность аристократа-капельмейстера громом рукоплесканий. Вырос, расцвел мой князь и, как только окончился концерт, пригласил всех музыкантов на ужин.

Тут, сверх лондонских цен, надобно знать и лондонские обычаи – в одиннадцать часов вечера, не предупредивши с утра, нигде нельзя найти ужин человек на пятьдесят.

Ассирийский вождь храбро пошел пешком по Regent street с музыкальным войском своим, стучась в двери разных ресторанов, и достучался наконец: смекнувший дело хозяин выехал на холодных мясах и на горячих винах.

Затем начались концерты его с всевозможными штукаами, даже с политическими тенденциями. Всякий раз гремел Herzens waltzer¹⁸, гремела Ogareffs Quadrille¹⁹ и потом "Emancipation Symphonie"²⁰ – пьесы, которыми и теперь, может, чарует князь москвичей и которые, ве(293)роятно, ничего не потеряли при переезде из Альбиона, кроме собственных имен – они могли легко перейти на Potapoffs waltzer²¹, Mina waltzer²², а потом и в Komissaroff's Partitur²³.

При всем этом шуме денег не было – платить было нечем. Поставщики начали роптать, и дома начиналось исподволь спартаковское восстание рабов.

...Одним утром явился ко мне factotum²⁴ князя, его управляющий, переименовавший себя в секретаря, с "регентом", то есть не с отцом Филиппа Орлеанского, а с белокурым и кудрявым русским малым лет двадцати двух, управлявшим певцами.

– Мы, Александр Иванович, к вам-с.

– Что случилось?

– Да уж Юрий Николаевич очень обижают, хотим ехать в Россию – и требуем расчета; не оставьте вашей милостью, вступитесь.

Так меня и обдало отечественным паром, – словно на каменку, поддали...

– Почему же вы обращаетесь с этой просьбой ко мне? Если вы имеете серьезные причины жаловаться на князя, – на это есть здесь для всякого суд, и суд, который не покривит ни в пользу князя; ни в пользу графа.

– Мы, точно, слышали об этом, да что ж ходить до суда. Вы уж лучше разберите.

– Какая же польза будет вам от моего разбора? Князь скажет мне, что я мешаюсь в чужие дела, – я и поеду с носом. Не хотите в суд, – пойдите к послу, не мне, а

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
ему препоручены русские в Лондоне...

- Это уж где же-с? Коль скоро- русские господа сидят, какой же может быть разбор с князем; а вы ведь за народ: так мы так и пришли к вам - уж разберите дело, сделайте милость.

- Экие ведь какие; да князь не примет моего разбора - что же вы выиграете?

- Позвольте доложить-с, - с живостью возразил секретарь, - этого они не посмеют-с, так как они очень (294) уважают вас, да и боятся-с сверх того: в "колокол"-то попасть им не весело - амбиция-с.

- Ну, слушайте, чтоб не терять нам попусту время, вот мое решение: если князь согласен принять мое посредничество, я разберу ваше дело - если нет, идите в суд; а так как вы не знаете ни языка, ни здешнего хождения по делам, то я, если вас в самом деле князь обижает, дам человека, который знает то и другое и по-русски говорит.

- Позвольте, - заметил секретарь.

- Нет, не позволяю, любезнейший. Прощайте. Пока они ходят к князю, скажу об них несколько слов. Регент ничем не отличался, кроме музыкальных способностей - это был откормленный, крупчатый, туповато-красивый, румяный малый из дворовых - его манера говорить прикартавливая, несколько заспанные глаза напоминали мне целый ряд, - как в зеркале, когда гадаешь, - Сашек, Сенек, Алешек, Мирошек. И секретарь был тоже чисто русский продукт, но более резкий, представитель своего типа. Человек лет за сорок, с небритым подбородком, испитым лицом, в засаленном сертуке, весь - снаружи и внутри нечистый и замаранный, с небольшими плутовскими глазами и с тем особенным запахом русских пьяниц, составленным из вечно поддерживаемого перегорелого сивушного букета с оттенком лука и гвоздики, для прикрытия. Все черты его лица ободряли, внушали доверие всякому скверному предложению - в его сердце оно нашло бы, наверное, отголосок и оценку, а если выгодно, и помощь. Это был первообраз русского чиновника, мироеда, подьячего, коштана. Когда я его спросил, доволен ли он готовившимся освобождением крестьян, он отвечал мне:

- Как же-с, - без сомненья, - и, вздохнувши, прибавил: - Господи, что тяжёб-то будет-с, разбирательств! А князь завез меня сюда, как на смех, именно в такое время-с.

До приезда Голицына он мне с видом задушевности говорил:

- Вы не верьте, что вам о князе будут говорить насчет притеснения крестьян или как он хотел их без земли на волю выпустить за большой выкуп. Все это враги распускают. Ну, правда, мот он и щеголь; но зато сердце доброе и для крестьян отец был. (295)

Как только он поссорился, он, жалуясь на него, проклинал свою судьбу, что "доверился такому прощелыге... ведь он всю жизнь беспутничал и крестьян разорил; ведь это он теперь прикидывается при вас таким - а то ведь зверь... грабитель..."

- Когда же вы говорили неправду: теперь или тогда, когда вы его хвалили? спросил я его, улыбаясь.

Секретарь сконфузился - я повернулся и ушел. Родись этот человек не в людской князей Голицыных, не сыном какого-нибудь "земского", давно был бы, при его способностях, министром - Валуевым, не знаю чем.

Через час явился регент и его ментор с запиской Голицына - он, извиняясь, просил меня, .если могу, приехать к нему, чтоб покончить эти дразги. Князь вперед обещал принять без спору мое решение.

Делать было нечего, я отправился. Все в доме показывало необыкновенное волнение. Француз слуга, Пико, поспешно мне отворил дверь и с той торжественной суетливостью, с которой провожают доктора на консультацию к умирающему, провел в залу. Там была вторая жена Голицына, встревоженная и раздраженная, сам Голицын ходил огромными шагами по комнате, без галстука, богатырская грудь наголо, - он

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru был взбешен и оттого вдвое заикался, на всем лице его было видно страдание от внутри взошедших – то есть не вышедших в действительный мир – зуботычин, пинков, треухов, которыми бы он отвечал инсургентам в Тамбовской губернии.

– Вы б-б-бога ради простите меня, что я в-вас беспокою из-за этих м-м-мошенников.

– В чем дело?

– Вы уж, п-пожалуйста, сами спросите – я только буду слушать.

Он позвал регента, и у нас пошел следующий разговор:

– Вы недовольны чем-то?

– Очень недоволен... и оттого именно беспрерывно хочу ехать в Россию.

Князь, у которого голос лаблашевокой силы, испустил львиный стон – еще пять зуботычин возвратились сердцу.

– Князь вас удержать не может так вы скажите, чем недовольны-то вы? (296)

– Всем-с, Александр Иванович.

– Да вы уж говорите потолковитее.

– Как же чем-с – я с тех пор, как из России приехал, с ног сбит работой, а жалованья получил только два фунта да третий раз вечером князь дали больше в подарок.

– А вы сколько должны получать?

– Этого я не могу сказать-с...

– Есть же у вас определенный оклад.

– Никак нет-с. Князь, когда изволили бежать за границу (это без злого умысла), сказали мне: "Вот хочешь ехать со мной, я, мол, устрою твою судьбу и, если мне повезет, дам большое жалованье, а не то и малым довольствуйся". Ну, я так и поехал.

Это он из Тамбова-то – в Лондон поехал на таком условии... О, Русь!

– Ну, а как, по-вашему, везет князю или нет?

– Какой везет-с... Оно конечно, можно бы всё...

– Это другой вопрос, – если ему не везет, стало, вы должны довольствоваться малым жалованьем.

– Да князь сами говорили, что по моей службе, то есть и способности, по здешним деньгам меньше нельзя, как фунта четыре в месяц.

– Князь, вы желаете заплатить ему по четыре фунта за месяц?

– С о-о-хотой-с...

– Дело идет прекрасно, что же дальше?

– Князь-с обещал, что если я захочу возвратиться, то пожалует мне на обратный путь до Петербурга, князь кивнул головой и прибавил:

– Да, но в том случае, если я им буду доволен!

– Чем же вы недовольны им?

Теперь плотину прорвало, князь вскочил. Трагическим басом, которому еще больше придавало веса дребезжание некоторых букв и маленькие паузы между согласными,

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru произнес он следующую речь:

- Мне им быть д-довольным, этим м-м-молокосом, этим щ-щенком?! Меня бесит гнусная неблагодарность этого разбойника! Я его взял к себе во двор из самобеднейшего семейства крестьян, вшами заеденного, босого; я его сам учил, негодяя, я из него сделал ч-чело-века, музыканта, регента; голос каналье выработал та(297)кой, что в России в сезон возьмет рублей сто в месяц жалованья.

- Все это так; Юрий Николаевич, но я не могу разделять вашего взгляда. Ни он, ни его семья вас не просили делать из него Ронкони, стало, и особенной благодарности с его стороны вы не можете требовать. Вы его обучили, как учат соловьев, и хорошо сделали, но тем и конец. К тому же это и к делу не идет...

- Вы правы... но я хотел сказать: каково мне выносить это? Ведь я его... к-каналью...

- Так вы согласны ему дать на дорогу?

- Черт с ним, для вас... только для вас даю. - Ну, вот дело и слажено - а вы знаете, сколько на дорогу надобно?

- Говорят, фунтов двадцать.

- Нет, это много, отсюда до Петербурга сто целковых за глаза довольно. Вы даете?

- Даю.

Я расчел на бумажке и передал Голицыну; тот взглянул на итог - выходило, помнится, с чем-то тридцать фунтов. Он тут же мне их и вручил.

- Вы, разумеется, грамоте знаете? - спросил я регента.

- Как же-с...

Я написал ему расписку в таком роде: "Я. получил с кн. Ю. Н. Голицына должны мне за жалованье и на проезд из Лондона в Петербург тридцать с тем-то фунтов (на русские деньги столько-то). Затем остаюсь доволен и никаких других требований на него не имею".

- Прочтите сами и подпишитесь... Регент прочел, но не делал никаких приготовлений, чтоб подписаться.

- За чем дело?

- Не могу-с.

- Как не можете?

- Я недоволен...

Львиный сдержанный рев, - да уж и я сам готов был прикрикнуть.

- Что за дьявольщина, вы сами сказали, в чем ваше требование. Князь заплатил все до копейки - чем же вы недовольны?

- Помилуйте-с; а сколько нужды натерпелся с тех пор, как здесь... (298)

Ясно было, что легость, с которой он получил деньги, разлакомила его.

- Например-с, мне следует еще за переписку нот.

- В-врешь! - закричал Голицын так, как и Лаблаш никогда не кричал; робко ответили ему своим эхо рояли, и бледная голова Пико показалась в щель и исчезла с быстротой испуганной ящерицы.

- Разве переписывание нот не входило в прямую твою обязанность?... да и что же бы ты делал все время, когда концертов не было?

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Князь был прав, хотя и не нужно было пугать Пико гласом контрбомбардосным.

Регент, привыкший к всяким звукам, не сдался – и, оставя в стороне переписывание нот, обратился ко мне с следующей нелепостью:

– Да вот-с еще и насчет одежды: я совсем обносился.

– Да неужели, давая вам в год около пятидесяти фунтов жалованья, Юрий Николаевич еще обязался одевать вас?

– Нет-с, но прежде князь все иногда давали, а теперь, стыдно сказать – до того дошел, что без носков хожу,

– Я сам хожу без н-н-нооков!.. – прогремел князь и, сложа на груди руки, гордо и с презрением смотрел на регента. Этой выходки я никак не ждал и с удивлением смотрел ему в глаза. Но, видя, что он продолжать не собирается, а что регент непременно будет продолжать, я очень серьезно сказал соколу-певцу:

– Вы приходили ко мне сегодня утром просить меня в посредники, стало, вы верили мне?

– Мы вас очень довольно знаем, в вас мы нисколько не сомневаемся, вы уж в обиду не дадите...

– Прекрасно, ну, так я вот как решаю дело. Подписывайте сейчас бумагу или отдайте деньги, я их "передам князю и с тем вместе отказываюсь от всякого вмешательства.

Регент не захотел вручить бумажки князю, подписался и поблагодарил меня. Избавляю от рассказа, как он переводил счет на целковые; я ему никак не мог вдолбить, что по курсу целковый стоит теперь не то, что стоил тогда, когда он выезжал из России, (299)

– Если вы думаете, что я вас хочу надуть фунта на полтора, так вы вот что сделайте: сходите к нашему попу да и попросите вам сделать расчет. – Он согласился.

Казалось, все кончено, и грудь Голицына не так грозно и бурно вздымалась но судьба хотела, чтоб и финал так же бы напомнил родину, как начало.

Регент помялся, помялся, и вдруг, как будто между ними ничего не было, обратился к Голицыну с словами:

– Ваше сиятельство, так как пароход из Гулля-с идет только через пять дней, явите милость, позвольте остаться покамест у вас.

"Задаст ему, – подумал я, – мой Лаблаш", – самоотверженно приготавливаясь к боли от крика.

– Куда ты к черту пойдешь. Разумеется, оставайся. Регент разблагодарил князя и ушел. Голицын в виде пояснения сказал мне:

– Ведь он предобрый малый. Это его этот мошенник, этот в-вор... этот поганый юс подбил...

Поди тут Савиньи и Митермайер, пусть схватят формулами и обобщат в нормы юридические понятия, развившиеся в православном отечестве нашем между конюшней, в которой драли дворовых, и баритовым кабинетом, в котором обирали мужиков.

Вторая cause сйlibre25, именно с "юсом" – не удалась. Голицын вышел и вдруг так закричал, и секретарь так закричал, что оставалось затем катать друг друга "под никитки", причем князь, конечно, зашиб бы гунявого подьячего. Но как все в этом доме совершалось по законам особой логики, то подрались не князь с секретарем – а секретарь с дверью; набравшись злобы и освежившись еще шкаликом джину, он, выходя, треснул кулаком в большое стекло, вставленное в дверь, и расшиб его. Стекла эти бывают в палец толщины.

– Полицию! – кричал Голицын. – Разбой! Полицию! – и, взошедши в залу, бросился

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
изнеможенный на диван. Когда он немного отошел, он пояснил мне, между прочим, в чем состоит неблагодарность секретаря. Человек этот был поверенным у его брата и, не помню, смошенничал что-то и должен был непременно идти под суд. Голицыну стало жаль его – он до того (300) взмолился в его положение, что заложил последние часы, чтобы выкупить его из беды. И потом – имея полные доказательства, что он плут – взял его к себе управляющим!

Что он на всяком шагу надувал Голицына, в этом не может быть никакого сомнения.

Я уехал, человек, который мог кулаком пробить зеркальное стекло, может сам себе найти суд и расправу. К тому же он мне рассказывал потом, прося меня достать ему паспорт, чтоб ехать в Россию, что он гордо предложил Голицыну пистолет и жеребий, кому стрелять.

Если это было, то пистолет, наверное, не был заряжен. Последние деньги князя пошли на усмирение спартаковского восстания – и он все-таки, наконец, попал, как и следовало ожидать, в тюрьму за долги. Другого посадили бы – и дело в шляпе, – с Голицыным и это не могло сойти просто с рук.

Полисмен привозил его ежедневно в Cremorne gar-dens, часу в восьмом; там он дирижировал, для удовольствия лореток всего Лондона, концерт, и с последним взмахом скипетра из слоновой кости незаметный полицейский вырастал из-под земли и не покидал князя до каба, который вез узника в черном фраке и белых перчатках в тюрьму. Прощаясь со мной в саду, у него были слезы на глазах. Бедный князь, другой смеялся бы над этим, но он брал к сердцу свое в неволю заключение, Родные как-то выкупили его. Потом правительство позволило ему возвратиться в Россию – и отправили его сначала на житье в Ярославль, где он мог дирижировать духовные концерты вместе с фелинским, варшавским архиереем. Правительство для него было добрее его отца – третий калач не меньше сына, он ему советовал идти в монастырь... Хорошо знал сына отец – а ведь сам был до того музыкант, что Бетховен посвятил ему одну из симфоний.

За пышной фигурой ассирийского бога, тучного Аполлона-вола, не должно забывать ряд других русских странностей.

Я не говорю о мелькающих тенях, как "колонель рюс", но о тех, которые, причаленные разными превратностями судьбы, – приостанавливались надолго в Лондоне, вроде того чиновника военного интендантства, (301) который, запутавшись в делах и долгах, бросился в Неву, утонул.., и всплыл в Лондоне изгнанником, в шубе, и меховом картузе, которые не покидал, несмотря на сырую теплоту лондонской зимы. Вроде моего друга Ивана Ивановича Савича, которого англичане звали Севидлс, который весь, целиком, с своими antecedентами и будущностью, с какой-то мездрой вместе волос на голове, так и просится в мою галерею русских редкостей.

Лейб-гвардии Павловского полка офицер в отставке, он жил себе да жил в странах заморских и дожил до февральской революции – тут он испугался и стал на себя смотреть как на преступника – не то, чтоб его мучила совесть, но мучила мысль о жандармах, которые его встретят на границе, казематах, тройке, снеге... – и решился отложить возвращение. Вдруг весть о том, что его брата взяли по делу Шевченки, – сделалось в самом деле что-то опасно, и он тотчас решился ехать. В это время я с ним познакомился в Ницце. Отправился Савич, купивши на дорогу крошечную скляночку яду, которую, переезжая границу, хотел как-то укрепить в дупле пустого зуба и раскусить в случае ареста.

По мере приближения к родине страх все возрастал и в Берлине дошел до удушающей боли, однако Савич переломил себя и сел в вагон. Станций на пять его стало – далее он не мог. Машина брала воду; он под совершенно другим предлогом вышел из вагона... Машина свистнула, поезд двинулся без Савича – того-то ему и было надобно. Оставив чемодан свой на произвол судьбы, он с первым обратным поездом возвратился в Берлин, Оттуда телеграфировал о чемодане и пошел визировать свой пасс в Гамбург, "Вчера ехали в Россию, сегодня в Гамбург", заметил полицейский, вовсе не отказывая в визе. Перепуганный Савич сказал ему:

Письма – я получил письма", и, вероятно, у него был такой вид, что со стороны прусского чиновника просто упущение по службе, что он его не арестовал. Затем Савич, спасаясь, никем не преследуемый, как Людвиг-Филипп, приехал в Лондон. В Лондоне для него началась, как для тысячи и тысячи других, тяжелая жизнь; он

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru годы честно и твердо боролся с нуждой. Но и ему судьба определила комический бортик ко всем трагическим событиям. Он решился давать уроки математики, черчению и даже французскому языку (для англичан). (382)

Посоветовавшись с тем и другим, он увидел, что без объявления или карточек не обойдется.

"Но вот беда: как взглянет на это русское правительство..." - думал я, думал, да и напечатал анонимные карточки.

Долго я не мог нарадоваться на это великое изобретение - мне в голову не приходила возможность визитной карточки без имени.

С своими анонимными карточка ми, с большой настойчивостью труда и страшной бережливостью (он жевал дни целые картофелем и хлебом) он сдвинул-таки свою барку с мели, стал заниматься торговым комиссионерством, и дела его пошли успешно.

И это именно в то время, когда дела другого лейб-гвардии павловского офицера пошли отвратительно. Разбитый, обкраденный, обманутый, одураченный, шеф Павловского полка отошел в вечность. Пошли льготы, амнистии. Захотелось и Савичу воспользоваться царскими милостями, и вот он пашет к Бруннову письмо и спрашивает, подходит ли он под амнистию. Через месяц времени приглашают Савича в посольство. "Дело-то, - думал он, - не так просто - месяц думали".

- Мы получили ответ, - говорит ему старший секретарь" - Вы нехотя поставили министерство в затруднение: ничего об вас нет. Оно сносилось с министром внутренних дел, и у него не могут найти никакого дела об вас. Скажите нам просто, что с вами было - не может же быть ничего важного!..

- Да в сорок девятом году мой брат был арестован и потом сослан.

- Ну?

- Больше ничего.

"Нет, - подумал Николай, - шалит", - и сказал Савичу, что, если так, министерство снова наведет справки. Прошли месяца два. Я воображаю, что было в эти два месяца в Петербурге... отношения, сообщения, конфиденциальные справки, секретные запросы из министерства I" III отделение, из III отделения в министерство, справки у харьковского генерал-губернатора... выговоры, замечания... а дела о Савиче найти не могли. Так министерство И сообщило в Лондон.

Посылает за Савичем сам Бруннов. (303)

- Вот, - говорит, - смотрите ответ. Нигде ничего об вас - скажите, по какому вы делу замешаны?

- Мой брат...

- Все это я слышал, да вы-то сами по какому делу?

- Больше ничего не было.

Бруннов, от рождения ничему не удивлявшийся, удивился.

- Так отчего же вы просите прощенья, когда вы ничего не сделали...

- Я думал, что все же лучше...

- Стало, просто-напросто вам не амнистия нужна, а паспорт.

И Бруннов велел выдать пасс.

На радостях Савич прискакал к нам.

Рассказав подробно всю историю о том, как он добился амнистии, он взял Огарева

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
под руку и увел в сад.

- Дайте мне, бога ради, совет, - сказал он ему. - Александр Иванович все смеется надо мной... такой уж нрав у него; но у вас сердце доброе. Скажите мне откровенно: думаете вы, что я могу безопасно ехать Венной?

Огарев не поддержал доброго мнения и расхохотался. Да что Огарев, - я воображаю, как Бруннов и Николаи минуты на две расправили морщины от тяжелых государственных забот и осклабились, когда амнистированный Савич вышел из кабинета.

Но при всех своих оригинальностях Савич был честный человек. Другие русские, неизвестно откуда всплывавшие, бродившие месяц, другой по Лондону, являвшиеся к нам с собственными рекомендательными письмами и исчезающие неизвестно куда, были далеко не так безопасны.

Печальное дело, о котором я хочу рассказать, было летом 1862. Реакция была тогда в инкубации и из внутреннего, скрытого гниения еще вылазила наружу. Никто не боялся к нам ездить. Никто не боялся брать с собой "Колокол" и другие наши издания; многие хвастались, как они мастерски провозят. Когда мы советовали быть осторожными, над нами смеялись. Пишем мы почти никогда не писали в Россию - старым знакомым нам нечего было сказать, - мы с ними стояли всё дальше и дальше, с новыми незнакомцами мы переписывались через "Колокол". (304)

Весной возвратился из Москвы и Петербурга Кельсиев. Его поездка, без сомнения, принадлежит к самым замечательным эпизодам того времени. Человек, ходивший мимо носа полиции, едва скрывавшийся, бывавший на раскольничьих беседах и товарищеских попойках - с глупейшим турецким пассом в кармане - и возвратившийся *saïn et saurf*²⁶ в Лондон, немного закусил удила. Он вздумал сделать пирушку в нашу честь в день пятилетия "Колокола", по подписке, в ресторане Кюна. Я просил его отложить праздник до другого, больше веселого времени. Он не хотел. Праздник не удался: не было *entrain*²⁷ и не могло быть в числе участников были люди слишком посторонние.

Говоря о том и сем, между тостами и анекдотами, говорили, как о самопростейшей вещи, что приятель Кельсиева Ветошников едет в Петербург и готов с собою кое-что взять. Разошлись поздно. Многие сказали, что будут в воскресенье у нас. Собралась действительно целая толпа, в числе которой были очень мало знакомые нам лица и, по несчастью, сам Ветошников; он подошел ко мне и сказал, что завтра утром едет, спрашивая меня, нет ли писем, поручений. Бакунин уже ему дал два-три письма. Огарев пошел к себе вниз и написал несколько слов дружеского приветия Н. Серно-Соловьевичу - к ним я приписал поклон и просил его обратить внимание Чернышевского (к которому я никогда не писал) на наше предложение в "Колоколе" "печатать на свой счет "Современник" в Лондоне". Гости стали расходиться часов около двенадцати; двое-трое оставались. Ветошников взошел в мой кабинет и взял письмо. Очень может быть, что и это осталось бы незамеченным. Но вот что случилось. Чтоб поблагодарить участников обеда, я просил их принять в память от меня по выбору что-нибудь из наших изданий или большую фотографию мою Левицкого. Ветошников взял фотографию; я ему советовал обрезать края и свернуть в трубочку; он не хотел и говорил, что положит ее на дно чемодана, и потому завернул ее в лист "Теймса" и так отправился. Этого нельзя было не заметить. (305)

Прощаясь с ним с последним, я спокойно отправился спать - так иногда сильно бывает ослепление - и уж, конечно, не думал, как дорого обойдется эта минута и сколько ночей без сна она принесет мне.

Все вместе было глупо и неосмотрительно до высочайшей степени... Можно было остановить Ветошникова до вторника - отправить в субботу. Зачем он не приходил утром, да и вообще зачем он приходил сам... да и зачем мы писали?

Говорят, что один из гостей телеграфировал тотчас в Петербург.

Ветошникова схватили на пароходе - остальное известно.

В заключение этого печального сказанья скажу о человеке, вскользь упомянутом мною и которого пройти мимо не следует. Я говорю о Кельсиеве.

В 1859 году получил я первое письмо от него.

<ГЛАВА II>. В.И. Кельсиев

Имя В. Кельсиева приобрело в последнее время печальную известность... быстрота внутренней и скорость внешней перемены, удачность раскаяния, неотлагаемая потребность всенародной исповеди и ее странная усеченность, бестактность рассказа, неуместная смешливость рядом с неприличной – в кающемся и прощенном – развязностью – все это, при непривычке нашего общества к крутым и гласным превращениям, – вооружило против него лучшую часть нашей журналистики. Кельсиеву хотелось во что бы ни стало занимать собою публику; он и накопился на видное место мишени, в которую каждый бросает камень, не жалея. Я далек от того, чтоб порицать нетерпимость, которую показала в этом случае наша дремлющая литература. Негодование это свидетельствует о том, что много свежих, неиспорченных сил уцелели у нас, несмотря на черную полосу нравственной неурядицы и безнравственного слова. Негодование, опрокинувшееся на Кельсиева, – то самое, которое некогда не пощадило Пушкина за одно или два стихотворения и отвернулось от Гоголя за его "Переписку с друзьями". (306)

Бросать в Кельсиева камнем лишнее, в него и так брошена целая мостовая. Я хочу передать другим и напомнить ему, каким он явился к нам в Лондон и каким уехал во второй раз в Турцию.

Пусть он сравнит самые тяжелые минуты тогдашней жизни с лучшими своей теперичной карьеры.

Страницы эти писаны прежде раскаянья и покаянья, прежде метемпсихозы и метаморфозы. Я в них ничего не переменял и добавил только отрывки из писем. В моем беглом очерке Кельсиев представлен так, как он остался в памяти до его появления на лодке в Скулянскую таможню в качестве запрещенного товара, просящего конфискации и поступления по законам.

Письмо от Кельсиева было из Плимута. Он туда приплыл на пароходе Североамериканской компании и отправился куда-то, в Ситку или Уналашку на службу. Поживши в Плимуте, ему расхотелось ехать на Алеутские острова, и он писал ко мне, спрашивая, можно ли ему найти пропитание в Лондоне. Он успел уже в Плимуте познакомиться с какими-то теологами и сообщал мне, что они обратили его внимание на замечательные истолкования пророчеств. Я предостерег его от английских клержименов²⁸ и звал в Лондон, "если он действительно хочет работать".

Недели через две он явился. Молодой, довольно высокий, худой, болезненный, с четверугольным черепом, с шапкой волос на голове – он мне напоминал (не волосами, тот был плешив), – а всем существом своим Энгельсона, и действительно он очень многим был похож на него. С первого взгляда можно было заметить много неустроенного и неустоявшегося, но ничего пошлого. Видно было, что он вышел на волю из всех опеки и крепостей, – но еще не приписался ни к какому делу и обществу – цеха не имел. Он был гораздо моложе Энгельсона, но все же принадлежал к позднейшей ширинге петрашевцев и имел часть их достоинств и все недостатки: учился всему на свете и ничему не научился дотла, читал всякую всячину и надо всем ломал довольно бесплодно голову. От постоянной критики всего (307) общепринятого Кельсиев раскачал в себе все нравственные понятия и не приобрел никакой нити поведенья²⁹.

Особенно оригинально было то, что в скептическом ощупывании Кельсиева сохранилась какая-то примесь мистических фантазий: он был нигилист с религиозными приемами, нигилист в дьяконовском стихаре. Церковный оттенок, наречие и образность остались у него в форме, в языке, в слоге и придавали всей его жизни особый характер и особое единство, основанное на спайке противоположных металлов.

У Кельсиева шел тот знакомый нам перебор, который делает почти всегда в самом деле проснувшийся русский внутри себя и о котором вовсе не думает за недосугом и заботами западный человек. Втянутые своими специальностями в другие дела, старшие братья наши не проверяют задов, и оттого у них сменяются поколения, строя и разрушая, награждая и наказуя, надевая венки и кандалы, твердо уверенные, что так и надобно, что они делают дело. Кельсиев, напротив, сомневался во всем и не принимал на слово ни добро – добра, ни зло – зла. Кобенящийся дух этот, отрешающийся от вперед идущей нравственности и готовых

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru истин, накопил всего больше в mi-sarkme30 нашего николаевского поста и резко стал высказываться, когда гиря, давившая наш мозг, приподнялась на одну линию. На этот-то полный жизни и отваги анализ и накинута бог весть что хранящая консервативная литература, а за ней и правительство.

Во время нашего пробуждения – под звуки севастопольских пушек – с чужих слов, многие из наших умников начали повторять, что западный консерватизм у нас факт прививной, что нас наскоро подогнали к европейскому образованию – не для того, чтоб делиться с ним наследственными болезнями и застарелыми предрассудками, а для "сравнения со старшими", для того, чтоб была возможность с ними идти ровным шагом вперед... Но как только мы видим на самом деле, что у проснувшейся мысли, что у возмужалого слова нет ничего (308) твердого, "ничего святого", а есть вопросы и задачи, что мысль ищет, что слово отрицает, что дурное раскачивается вместе с "заведомо" хорошим и что дух пытания и сомнения влечет все, все без разбора в пропасть, лишнюю перил, – тогда крик ужаса и испуганная вырывается из груди и пассажиры первых классов закрывают глаза, чтоб не видеть, когда вагоны сорвутся с рельсов, а кондукторы тормозят и останавливают всякое движение.

Разумеется, бояться причины нет. Возникающая сила слишком слаба материально, чтоб сдвинуть шестидесятимиллионный поезд с рельсов. Но в ней была программа, может быть пророчество.

Кельсиев развился под первым влиянием времени, о котором мы говорили. Он далеко не оселся, не дошел ни до какого центра тяжести, но он был в полной ликвидации всего нравственного имущества. От старого он отрешился, твердое распустил, берег оттолкнул и, очертя голову, пустился в широкое море. Равно подозрительно и с недоверием относился он к вере и к неверью, к русским порядкам и к порядкам западным. Одно, что пустило корни в его грудь, было сознание страстное и глубокое экономической неправды современного государственного строя и, в силу этого, ненависть к нему и темное стремление к социальным теориям, в которых он видел выход.

На это сознание неправды и на эту ненависть, сверх пониманья, он имел неотъемлемое право.

В Лондоне он поселился в одной из отдаленнейших частей города, в глухом переулке Фулама, населенном матовыми, подернутыми чем-то пепельным, ирландцами и всякими исхудальными работниками. В этих сырых каменных коридорах без крыши страшно тихо, звуков почти нет никаких, ни света, ни цвета: люди, платья, дома – все полиняло и осунулось, дым и сажа обвели все линии траурным ободком. По ним не трещат тележки лавочников, развозящих съестные припасы, не ездят извозчицы кареты, не кричат разносчики, не лают собаки – последним решительно нечем питаться... Изредка только выходит какая-нибудь худая, взъерошенная и покрытая углем кошка, проберется по крыше и подойдет к трубе погреться, выгибая спину и обличая видом, что внутри дома она передрогла. (309)

Когда я в первый раз посетил Кельсиева, его не было дома. Очень молодая, очень некрасивая женщина, худая, лимфатическая, с заплаканными глазами, сидела у тюфяка, постланного на полу, на котором, весь в лихорадке и жаре, метался, страдал, умирал ребенок, году или полутора. Я посмотрел на его лицо и всетомнил предсмертные черты другого ребенка. Это было то же выражение. Через несколько дней он умер, – другой родился.

Бедность была всесовершеннейшая. Молодая тщедушная женщина, или, лучше, замужня девочка, выносила ее геройски и с необычайной простотой. Думать нельзя было, глядя на ее болезненную, золотушную, слабую наружность, что за мощь, что за сила преданности обитала в этом хилом теле. Она могла служить горьким уроком нашим заплечным романистам. Она была, хотела быть тем, что впоследствии назвали нигилисткой, странно чесала волосы, небрежно одевалась, много курила, не боялась ни смелых мыслей, ни смелых слов;

она не умилялась перед семейными добродетелями, не говорила о священном долге, о сладости жертвы, которую совершает ежедневно, и о легости креста, давившего ее молодые плечи. Она не кокетничала своей борьбой с нуждой, а делала все – шила и мыла, кормила ребенка, варила мясо и чистила комнату. Твердым товарищем была она мужу и великой страдальницей сложила голову свою на дальнем Востоке, следуя за блуждающим, беспоконным бегом своего мужа и потеряв разом двух последних

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
малютки.

...Поборолся я сначала с Кельсиевым, стараясь его убедить, чтоб он не отрезывал себе с самого начала, не изведавши жизни изгнанника, пути к возвращению. Я ему говорил, что надобно прежде узнать нужду на чужбине, нужду в Англии, особенно в Лондоне; я ему говорил, что в России теперь дорога всякая сила.

- что вы будете здесь делать? - спрашивал я его. Кельсиев собирался всему учиться и обо всем писать; пуще всего хотел он писать о женском вопросе - о семейном устройстве.

- Пишите прежде, - говорил я ему, - об освобождении крестьян с землей. Это - первый вопрос, стоящий на дороге.

Но симпатии Кельсиева были не туда обращены. Он действительно принес мне статью о женском вопросе. (310)

Она была безмерно плоха - Кельсиев посердился, что я ее не напечатал, и сам благодарил меня за это года два спустя.

Возвращаться он не хотел.

Во что бы ни стало надобно было найти ему работу. За это мы и принялись. Теологические эксцентричности его нам помогли. Мы достали ему корректуру св. писания, издаваемого по-русски Лондонским библейским обществом. Затем передали ему кипу бумаг, полученных нами в разное время, по части старообрядцев. За издание их и приведение в порядок Кельсиев принялся со страстью. То, о чем он догадывался и мечтал, то раскрывалось перед ним фактически: грубо-наивный социализм в евангельской ризе сквозил ему в расколе. Это было лучшее время в жизни Кельсиева; он с увлечением работал и прибегал иногда вечером ко мне указать какую-нибудь социальную мысль духоборцев, молокан, какое-нибудь чисто коммунистическое учение федосеевцев; он был в восторге от их скитания по лесам, ставил идеалом своей жизни скитаться между ними и сделаться учителем социально-христианского раскола в Белокринице или России.

И действительно, Кельсиев был в душе "бегуном", бегуном нравственным и практическим: его мучила тоска, неустоявшиеся мысли. На одном месте он оставаться не мог. Он нашел работу, занятие, безбедное пропитание, но не нашел дела, которое бы поглотило совсем его беспокойный темперамент; он был готов покинуть все, чтоб искать его, готов был не только идти на край света, но сделаться монахом, приняв священство без веры.

Настоящий русский человек, Кельсиев всякий месяц делал новую программу занятий, придумывал проекты и брался за новую работу, не кончив старой. Работал он запоем и запоем ничего не делал. Он схватывал вещи легко, но тотчас удовлетворялся до пресыщения, из всего тянул он сразу жилы до последнего вывода, а иногда и подальше.

Сборник о раскольниках шел успешно; он издал шесть частей, быстро расходившихся. Правительство, видя это, позволило обнародование сведений о старообрядцах. То же случилось с переводом библии. Перевод с еврейского не удался. Кельсиев попробовал сде(311)дать un tour de force³¹ и перевести "слово в слово", несмотря на то, что грамматические формы семитических языков вовсе не совпадают со славянскими. Тем не меньше выпущенные ливрезоны³² разошлись мгновенно, и святейший синод, испугавшись заграничного издания, благословил печатание старого завета на русском языке. Эти обратные победы никогда никем не были поставлены в сгидит нашего станка.

В конце 1861 Кельсиев отправился в Москву с целью завести прочные связи с раскольниками. Поездку эту он когда-нибудь должен сам рассказать. Она невероятна, невозможна, а на деле действительно была. В этой поездке отвага граничит с безумием; в ней опрометчивость почти преступная, но уж, конечно, не я буду его винить в ней. Неосторожная болтовня за границей могла сделать много бед. Но к делу и оценке самой поездки это не идет.

Возвратясь в Лондон, он принялся, по требованию Трюбнера, за составление русской грамматики для англичан и за перевод какой-то финансовой книги. Ни того, ни другого он не кончил: путешествие сгубило его последний Sitzfleisch³³ - он

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru тяготился работой, впадал в ипохондрию, унывал; а работа была нужна: денег опять не было ни гроша. К тому же и новый червь начал точить его. Успех поездки, бесспорно доказанная отвага, таинственные переговоры, победа над опасностями раздули и в его груди без того сильную струю самолюбья; обратно Цезарю, Дон Карлосу и Вадиму Пассеку Кельсиев, запуская руки в свои густые волосы, говорил, покачивая грустно головой:

- Еще нету тридцати лет - и уже такая ответственность взята мною на плечи.

Из всего этого легко можно было понять, что грамматики он не кончит, а уйдет. Он и ушел. Ушел он в Турцию, с твердым намерением еще больше сблизиться с раскольниками, составить новые связи и, если возможно, остаться там и начать проповедь вольной церкви и общинного житья. Я писал ему длинное письмо, убеждая его не ездить, а продолжать работу. Но страсть (312) к скитанью, желание подвига и великой судьбы, мерещившейся ему, были сильнее, и он уехал.

Он и Мартьянов исчезают почти в одно время. Один, чтоб, после ряда несчастий и испытаний, хоронить своих и потеряться между Яссами и Галацом, другой, чтоб схоронить себя на каторжной работе, куда его сослала неслыханная тупость царя и неслыханная злоба мстящих помещиков-сенаторов.

После них являются на сцену люди другого чекана. Наша общественная метаморфоза, не имея большой глубины и захватывая очень тонкий слой, быстро изменяет и изнашивает формы и цветы.

Между Энгельсоном и Кельсиевым - уже целая формация, как между нами и Энгельсоном. Энгельсов был человек сломленный, оскорбленный; зло, сделанное ему всей средой, миазмы, которыми он дышал с детства, изуродовали его. Луч света скользнул по нем и отогрел его года за три до его смерти, когда уже неостанавливаемый недуг грыз его грудь. Кельсиев, тоже помятый и попорченный средой, явился, однако, без отчаяния и усталости, оставаясь за границей, он не просто шел на покой, не просто бежал без оглядки от тяжести: он шел куда-то. Куда - этого он не знал (и тут всего ярче выразился видовой оттенок его пласта), определенной цели он не имел; он ее искал и покамест осматривался и приводил в порядок, а пожалуй и в беспорядок, всю массу идей, захваченных в школе, книгах и жизни. Внутри у него шла ломка, о которой мы говорили, и она для него была существенным вопросом, которым он жил, выжидая или такого дела, которое поглотило бы его, или такую мысль, которой бы он отдался.

Теперь воротимся к Кельсиеву. Потаскавшись в Турции, Кельсиев решил поселиться в Тульче; там он хотел учредить средоточие своей пропаганды между раскольниками, школу для казацких детей и сделать опыт общинной жизни, в которой прибыль и убыль должна была падать на всех, чистая и нечистая, легкая и трудная работа обделываться всеми. Дешевизна помещенья и съестных припасов делали опыт возможным. Он сблизился с старым атаманом некрасовцев, с Гончаром, и вначале перевозил его до небес. Летом 1863 подъехал к нему его меньшой брат Иван, прекрасный, даровитый юноша. Он был по студентскому делу выслан из (313) Москвы в Пермь, там попался к негодяю губернатору, который его теснил. Потом его опять вызвали в Москву для каких-то показаний - ему грозила ссылка далее Перми. Он бежал из частного дома и пробрался через Константинополь в Тульчу. Старший брат был чрезвычайно рад ему, он искал товарищей и, наконец, звал жену, которая рвалась к нему и жила на нашем попеченье в Теддингтоне. Пока мы ее снаряжали, явился в

Лондон и сам Гончар.

Хитрый старик, почувывая смуты и войны, вышел из своей берлоги понюхать воздух и посмотреть, чего откуда можно ждать, то есть с кем идти и против кого. Не зная ни одного слова, кроме по-русски и турецки, он отправился в Марсель и оттуда в Париж. В Париже он виделся с Чарторижским и Замойским, говорят даже, что его возили к Наполеону; от него я этого не слышал. Переговоры ни к чему не привели, - и седой казак, качая головой и щуря лукавыми глазами, написал каракульками семнадцатого столетия ко мне письмо, в котором, называя меня "графом", спрашивал, может ли приехать к нам и как нас найти.

Мы жили тогда в Теддингтоне - без языка не легко было добраться до нас, и я поехал в Лондон на железную дорогу встретить его. Выходит из вагона старый русский мужик, из зажиточных, в сером кафтане, с русской бородой, скорее

Былое и думы (часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru худощавый, но крепкий, мускулистый, довольно высокий и загорелый, несет узелок в цветном платке.

- Вы Осип Семенович? - спрашиваю я.

- Я, батюшка, я... - Он подал мне руку. Кафтан распахнулся, и я увидел на поддевке большую звезду - разумеется турецкую, русских звезд мужикам не дают. Поддевка была синяя и оторочена широкой пестрой тесьмой, - этого я в России не видал.

- Я такой-то, приехал вас встретить да проводить к нам.

- Что же ты это, ваше сиятельство, сам беспокоился... того?.. Ты бы того, кого-нибудь...

- Это уж оттого, видно, что я не сиятельство. С чего же, Осип Семенович, вы выдумали меня называть графом?

- А Христос тебя - знает, как величать - ты небось в своем деле во главе стоишь. Ну, а я - того, человек (314) темный... ну и говорю: граф, то есть сиятельный, то есть голова.

Не только оборот речи, но и произношение у Гончара было великорусское, крестьянское - как у них в захолустье, окруженном иноплемениками, так славно сохранился язык, - трудно было б понять без старообрядческого мирщенья. Раскол их выделил так строго, что никакое чужое влияние не переходило за их частокол.

Гончар прожил у нас три дня. Первые дни он ничего не ел, кроме сухого хлеба, который привез с собой, и пил одну воду. На третий день было воскресенье; он разрешил себе стакан молока, рыбу, варенную в воде, и, если не ошибаюсь, рюмку хереса.

Русское себе на уме, восточная хитрость, осмотрительность охотника, сдержанность человека, привыкшего с детских лет к полному бесправию и к соседству сильных, к врагам, долгая жизнь, проведенная в борьбе, в настойчивом труде, в опасности, - все это так и сквозило из-за мнимо простых черт и простых слов седого казака. Он постоянно оговаривался, употреблял уклончивые фразы, тексты из священного писания, делал скромный вид, очень сознательно рассказывая о своих успехах, и если иногда увлекался в рассказах о прошлом и говорил много, то, наверное, никогда не проговорился о том, о чем хотел молчать.

Этот закал людей на Западе почти не существует. Он не нужен, как не нужна дамаскирная сталь для лезвия,.. В Европе все делается гуртом, массой; человеку одиночно не нужно столько силы и осторожности.

В успех польского дела он уже не верил и говорил о своих парижских переговорах, покачивая головой.

- Нам, конечно, где же сообразить: люди маленькие, темные, а они вон поди как, - ну, вельможи, как следует; только эдак нрав-то легкой... Ты, мол, Гончар, не сумлевайся: вот как справимся, мы и то и то сделаем для тебя, например. Понимаешь?.. Ну, все будет в удовольствие. Оно точно, люди добрые, да поди вот, когда справятся... с такой Палестиной.

Ему хотелось разузнать, какие у нас связи с раскольниками и какие опоры в крае; ему хотелось осязать, может ли быть практическая польза в связи старообрядцев с нами. В сущности для него было все равно - он пошел бы равно с Польшей и Австрией, с нами и с (315) греками, с Россией или Турцией, лишь бы это было выгодно для его некрасовцев. Он и от нас уехал, качая головой. Написал потом два-три письма, в которых, между прочим, жаловался на Кельсиева, и подал вопреки нашего мнения адрес государю.

В начале 1864 поехали в Тульчу два русских офицера, оба эмигранты, Краснопевцев и Васильев (?). Маленькая колония сначала дружно принялась за работу. Они учили детей и солили огурцы, чинили свои платья и копались в огороде. Жена Кельсиева варила обед и обшивала их. Кельсиев был доволен началом, доволен казаками и раскольниками, товарищами и турками³⁴.

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru Кельсиев писал еще нам свои юмористические рассказы о их водворении, а уже черная рука судьбы была занесена над маленькой кучкой тульчинских обшинников. В июне месяце 1864, ровно через год после своего приезда, умер двадцати трех лет, на руках своего брата, в злейшем тифе, Иван Кельсиев. Смерть его была для брата страшным ударом; он сам занемог, но как-то отходил. Письма его того времени ужасны. Дух, поддерживавший отшельников, упал... угрюмая скука овладевала ими... начались препинания и ссоры. Гончар писал, что Кельсиев сильно пьет; Краснопевцев застрелился; Васильев ушел. Дольше не мог вытерпеть Кельсиев, он взял свою жену и своих детей (у него еще родился ребенок) и без средств, без цели отправился сначала в Константинополь, потом в Дунайские княжества. Совершенно отрезанный от всех, отрезанный на время даже от нас, он в это время разошелся с польской эмиграцией в Турции. Напрасно искал он заработать кусок хлеба, с отчаянием смотрел он на изнурение бедной женщины и детей. Деньги, которые мы посылали иногда, не могли быть достаточны. "Случалось, что у нас вовсе не было хлеба", - писала незадолго до своей смерти его жена. Наконец, после долгих усилий Кельсиев нашел в Галаце место "надзирателя за шос(316)сейными работами". Скука томила, грызла его... он не мог не винить себя в положении семьи. Невежество дико-восточного мира оскорбляло его, он в нем чахнул и рвался вон. Веру в раскольников он утратил, веру в поляков утратил... вера в людей, в науку, в революцию колебалась сильнее и сильнее, и можно было легко предсказать, когда и она рухнет... Он только и мечтал, чтоб во что б ни стало вырваться опять на свет, приехать к нам, и с ужасом видел, что ему покинуть семью нельзя. "Если б я был один, писал он несколько раз, - я с дагерротипом или органом ушел бы, куда глаза глядят, и, потаскавшись по миру, пешком явился бы в Женеву".

Помощь была близка.

"Милуша" - так звали старшую дочь - легла здоровая спать... проснулась ночью больная; к утру умерла холерой. Через несколько дней умерла вторая дочь; мать свезли в больницу. У ней открылась острая чахотка.

- Помнишь ли, ты когда-то мне обещал сказать, когда я буду умирать, что это смерть. Смерть ли это?

- Смерть, друг мой, смерть.

И она еще раз улыбнулась, впала в забытие и умерла.

<ГЛАВА III>. <МОЛОДАЯ ЭМИГРАЦИЯ>

Едва Кельсиев ушел за порог, новые люди, вытесненные суровым холодом 1863, стучались у наших дверей. Они шли не из готовален наступающего переворота, а с обрушившейся сцены, на которой они уже выступали актерами. Они укрывались от внешней бури и ничего не искали внутри; им нужен был временный приют, пока погода уляжется, пока снова представится возможность идти в бой. Люди эти, очень молодые, покончили с идеями, с образованием; теоретические вопросы их не занимали отчасти оттого, что они у них еще не возникали, отчасти оттого, что у них дело шло о приложении. Они были побиты материально, но дали доказательство своей отваги. Свернувши знамя, им приходилось хранить его честь. Отсюда сухой тон, cassant, roide³⁵, резкий (317) и несколько поднятый, отсюда военное, нетерпеливое отвращение от долгого обсуживания, критики, несколько изысканное пренебрежение ко всем умственным роскошам - в числе которых ставились на первом плане искусства... Какая тут музыка, какая поэзия" "Отечество в опасности, аих агmes, citoyens!"³⁶ В некоторых случаях они были отвлеченно правы, но сложного и запутанного процесса уравнивания идеала с существующим они не брали в расчет и, само собой разумеется, свои мнения и воззрения принимали за воззрения и мнения целой России. Винить за это наших молодых штурманов будущей бури было бы несправедливо. Это - общеюношеская черта. Год тому назад один француз, поклонник Конта, уверял меня, что католицизм во Франции не существует, а com¹itement perdu le terrain³⁷, и, между прочим, ссылаясь на медицинский факультет, на профессоров и студентов, которые не только не католики, но и не деисты.

- Ну, а та часть Франции, - заметил я, - которая не читает и не слушает медицинских лекций?

- Она, конечно, держится за религию и обряды... но больше по привычке и по невежеству.

- Очень верю, но что же вы сделаете с нею?

- А что сделал тысяча семьсот девяносто второй год?

- Немного - революция <нрзб.> сначала заперла церкви, а потом отперла. Вы помните ответ Ожеро Наполеону, когда праздновали конкордат. "Нравится ли тебе церемония?" - спросил консул, выходя из Нотр-Дам, якобинца-генерала. "Очень, отвечал он, - жаль только, что недостает двухсот тысяч человек, которые легли костями, чтоб уничтожить подобные церемонии". - "Ah bah! мы стали умнее и не отопрем церковных дверей или, лучше, не запрем их вовсе и отдадим капище суеверий под школы".

- Linfвme sera ecrasee38, - закончил я, смеясь.

- Да, без сомнения... это верно!

- Но мы-то с вами не увидим этого; это вернее. В этом взгляде на окружающий мир сквозь подкрашенную личным сочувствием призму лежит половина всех революционных успехов. Жизнь молодых людей, (318) вообще идущая в своего рода шумном и замкнутом затворничестве, вдали от будничной и валовой борьбы из-за личных интересов, резко схватывая общие истины, почти всегда срезывается на ложном понимании их приложения к нуждам дня.

...Сначала новые гости оживили нас рассказами о петербургском движении, о диких выходках оперившейся реакции, о процессах и преследованиях, об университетских и литературных партиях... потом, когда все это было передано с той скоростью, с которой в этих случаях торопятся всё сообщить, - наступили паузы, гиагузы39, беседы наши сделались скучны, однообразны...

"Неужели, - думал я, - это в самом деле старость, разводящая два поколения? Холод, вносимый летами, усталю, испытаниями?"

Как бы то ни было, я чувствовал, что с появлением новых людей горизонт наш не расширился... а сузился, диаметр разговоров стал короче, нам иной раз нечего было друг другу сказать. Их занимали подробности их кругов, за границей которых их ничего не занимало. Однажды передавши все интересное об них, приходилось повторять, и они повторяли. Наукой или делами они занимались мало - даже мало читали и не следили правильно за газетами. Поглощенные воспоминаниями и ожиданиями, они не любили выходить в другие области; а нам недоставало воздуха в этой спертый атмосфере. Мы, избаловавшись другими размерами, - задохались!

К тому же, если они и знали известный слой Петербурга, то России вовсе не знали и, искренно желая сблизиться с народом, сближались с ним книжно и теоретически.

Общее между нами было слишком обще. Вместе идти, служить, по французскому выражению, вместе что-нибудь делать мы могли, но вместе стоять и жить сложа руки было трудно. О серьезном влиянии и думать было нечего. Болезненное и очень бесцеремонное самлюбие давно закусило удила40, Иногда, правда, они требовали (319) программы, руководства, но, при всей искренности, это было не в самом деле. Они ждали, чтоб мы формулировали их собственное мнение, и только в том случае соглашались, когда высказанное нами несколько не противуречило ему. На нас они смотрели как на почтенных инвалидов, как на прошедшее и наивно дивились, что мы еще не очень отстали от них.

Я всегда и во всем боялся "пуще всех печалей" мезальянсов, всегда их допускал долею по гуманности, долею по небрежности и всегда страдал от них.

Предвидеть бело немудрено, что новые связи долго не продержатся, что рано или поздно они разорвутся и что этот разрыв, взяв в расчет шероховатый характер новых приятелей, - не обойдется без дурных последствий.

Вопрос, на котором покачнулись шаткие отношения, был именно тот старый вопрос, на котором обыкновенно разрываются знакомства, сшитые гнилыми нитками. - Я говорю о деньгах. Не зная вовсе ни моих средств, ни моих жертв, они делали на меня требования, которые удовлетворять я не считал справедливым. Если я мог через все невзгоды, без малейшей поддержки, провести лет пятнадцать русскую пропаганду, то я мог это сделать, налагая меру и границу на другие траты. Новые

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru знакомые находили, что все, делаемое мною, мало, и с негодованием смотрели на человека, прикидывающегося социалистом, и не раздающего своего достояния на дуван⁴¹ людям, не работающим, яо желающим деньги. Очевидно, они стояли еще на непрактической точке зрения христианской милостыни и добровольной нищеты, принимая ее за практический социализм.

Опыты собрания "Общего фонда" не дали важных результатов. Русские не любят давать денег на общее дело, если при нем нет сооружения церкви, обеда, попойки и высшего одобряющего начальства.

В самый разгар эмигрантского безденежья разнесся слух, что у меня есть какая-то сумма денег, врученная мне для пропаганды. (320)

Молодым людям казалось справедливым ее у меня отобрать.

Для того чтоб понять это, следует рассказать об одном странном случае, бывшем в 1858 году. Одним утром я получил записку, очень короткую, от какого-то незнакомого русского; он писал мне, что имеет "необходимость меня видеть", и просил назначить время. Я в это время шел в Лондон, а потому вместо всякого ответа зашел сам в Саблоньер-отель и спросил его. Он был дома. Молодой человек с видом кадета, застенчивый, очень невеселый и с особой наружностью, довольно топорно отделанной, седьмых-восьмых сыновей степных помещиков. Очень неразговорчивый, он почти все молчал; видно было, что у него что-то на душе, но он не дошел до возможности высказать, что.

Я ушел, пригласивши его дни через два-три обедать. Прежде этого я его встретил на улице.

- Можно с вами идти? - спросил он.

- Конечно, - не мне с вами опасно, а вам со мной. Но Лондон велик...

- Я не боюсь, - и тут вдруг, закусивши удила, он быстро проговорил: - я никогда не возвращусь в Россию... нет, нет, я решительно не возвращусь в Россию...

- Помилуйте, вы так молоды?

- Я Россию люблю, очень люблю; но там люди... там мне не житье, я хочу завести колонию на совершенно социальных основаниях; это все я обдумал и теперь еду прямо туда.

- То есть куда?

- На Маркизовы острова.,

Я смотрел на него с немым удивлением.

- Да... да. Это - дело решенное. Я плыву с первым пароходом и потому очень рад, что вас встретил сегодня. Могу я вам сделать нескромный вопрос?

- Сколько хотите.

- Имеете вы выгоду от ваших публикаций?

- Какая же выгода. Хорошо, что теперь печать окупается.

- Ну, а если не будет окупаться?

- Буду приплачивать.

- Стало, в вашу пропаганду не входят никакие торговые цели? Я расхохотался. (321)

- Ну, да как же вы будете одни приплачивать? А пропаганда ваша необходима... вы меня простите, я не из любопытства спрашиваю - у меня была мысль, оставляя Россию навсегда, сделать что-нибудь полезное для нее, я и решился... да только прежде хотел знать от вас самих насчет дел... да-с, так я и решился оставить у вас немного денег. На случай, если вашей типографии нужно или для русской

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
пропаганды вообще, так вы бы и распорядились.

Мне опять пришлось посмотреть на него с удивлением.

- Ни типография, ни пропаганда, ни я, в деньгах, мы не нуждаемся напротив, дело идет в гору - зачем же я возьму ваши деньги - но, отказываясь от них, позвольте мне от души поблагодарить за доброе намеренье.

- Нет-с, это - дело решенное., У меня пятьдесят тысяч франков; тридцать я беру с собой на острова, двадцать отдаю вам на пропаганду.

- Куда же я их дену?

- Ну, не будет нужно, вы отдадите мне, если я возвращусь; а не возвращусь лет десять или умру, употребите их на усиление вашей пропаганды. Только, добавил он подумавши, - делайте, что хотите, но... но не отдавайте ничего моим наследникам. Вы завтра утром свободны?

- Пожалуй.

- Сводите меня, сделайте одолжение, в банк и к Ротшильду; я ничего не знаю и говорить не умею по-английски и по-французски очень плохо. Я хочу скорее отделаться от двадцати тысяч и ехать.

- Извольте, я деньги принимаю, но вот на каких основаниях: я вам дам расписку...

- Никакой расписки мне не нужно...

- Да, но мне нужно дать и без этого ваших денег не возьму. Слушайте же. Во-первых, в расписке будет сказано, что деньги ваши вверяются не мне одному, а мне и Огареву. Во-вторых, так как вы, может, соскучитесь на Маркизских островах и у вас явится тоска по родине (он покачал головой)... почему знаешь, чего не знаешь, - то писать о цели, с которой вы даете капитал, не следует, а мы скажем, что... деньги эти отдаются в полное распоряжение мое и Огарева буде же мы (322) иного распоряжения не сделаем, то купим для вас на всю сумму каких-нибудь бумаг, гарантированных английским правительством, в пять процентов или около. Затем даю вам слово, что без явной крайности для пропаганды мы денег ваших не тронем; вы на них можете считать во всех случаях, кроме банкротства в Англии.

- Коли хотите непременно делать столько затруднений, делайте их... а завтра едем за деньгами.

Следующий день был необыкновенно смешон и суетлив. Началось с банка и Ротшильда - деньги выдали ассигнациями. Бахметев возымел сначала благое намерение разменять их на испанское золото или серебро. Конторщики Ротшильда смотрели на него с изумлением, но когда вдруг, как спросонья, он сказал совершенно ломанным франко-русским языком: "Ну, так летр креди иль Маркиз"⁴², тогда Кестнер, директор бюро, обернул на меня испуганный и тоскливый взгляд, который лучше слов говорил: "Он не опасен ли?" К тому же никто еще никогда в доме у Ротшильда не требовал кредитива на Маркизские острова.

Решились тридцать тысяч взять золотом и ехать домой; по дороге заехали в кафе, - я написал расписку;

Бахметев, с своей стороны, написал мне, что отдает в полное распоряжение мое и Огарева восемьсот фунтов. Потом он ушел зачем-то домой, а я отправился его ждать в книжную лавку; через четверть часа он пришел бледный, как полотно, и объявил, что у него из 30000 недостает 250 фр., то есть 10 liv. Он был совершенно сконфужен. Как потеря 250 фр. могла так перевернуть человека, отдававшего без всякой серьезной гарантии 20000, - опять психологическая загадка природы человеческой.

- Нет ли лишней бумажки у вас?

- Со мной денег нет, я отдал Rothschildy, и вот расписка: ровно 800 фунтов получено.

Бахметев, разменявший без всякой нужды на фунты свои ассигнации, рассыпал на

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru конторке. Тхоржевского 30000 – считал, пересчитывал, – нету 10 фунтов, да и только. Видя его отчаянье, я сказал Тхоржевскому: (323)

– Я как-нибудь на себя возьму эти проклятые десять фунтов, а то он же сделал доброе дело, "да он же и наказан.

– Горевать и толковать тут не поможет, – прибавил я ему: – я предлагаю ехать сейчас к Ротшильду.

Мы поехали. Было уже позже четырех, и касса заперта. Я взошел с сконфуженным Бахметевым. Кестнер посмотрел на него и, улыбаясь, взял со стола десятифунтовую ассигнацию и подал ее мне.

– Это каким образом?

– Ваш друг, меняя деньги, дал вместо двух пятифунтовых две десятифунтовые ассигнации, а я сначала не заметил.

Бахметев смотрел, смотрел и прибавил:

– Как глупо – одного цвета и десять фунтов и пять фунтов; кто же догадается? Видите, как хорошо, что я разменял деньги на золото.

Успокоившись, он поехал ко мне обедать – а на другой день я обещался прийти к нему проститься. Он был совсем готов. Маленький кадетский или студентский, вытертый, распертый чемоданчик, шинель, перевязанная ремнем, и... и тридцать тысяч франков золотом, завязанные в толстом фуляре так, как завязывают фунт крыжовнику или орехов.

Так ехал этот человек в Маркизские острова.

– Помилуйте, – говорил я ему, – да вас убьют и ограбят прежде, чем вы отчалите от берега. Положите лучше в чемоданчик деньги.

– Он полон.

– Я вам сак достану.

– Ни под каким видом.

Так и уехал. Я первые дни думал, чего доброго его укокошат – а на меня падет подозрение, что подослал его убить.

С тех пор об нем не было ни слуху, ни духу. Деньги его я положил в фонды с твердым намерением не касаться до них без крайней нужды типографии или пропаганды.

В России долгое время никто не знал об этом, потом ходили смутные слухи... чему мы обязаны двум-трем нашим приятелям, давшим слово не говорить об этом. Наконец, узнали, что деньги действительно есть и хранятся у меня. (324)

Весть эта пала каким-то яблоком искушенья, каким-то хроническим возбуждением и ферментом. Оказалось, что деньги эти нужны всем, а я их не давал. Мне не могли простить, что я не потерял всего своего состояния, а тут у меня депо43, данный для пропаганды; а кто же пропаганда, как не они. Сумма вскоре выросла из скромных франков в рубли серебром и дразнила еще больше желавших сгубить ее частно на общее дело. Негодовали на Бахметева, что он мне деньги вверил, а не кому-нибудь другому, самые смелые утверждали, что это с его стороны была ошибка, что он действительно хотел отдать их не мне, а одному петербургскому кругу и что, не зная, как это сделать, отдал в Лондоне мне. Отважность в этих суждениях была тем замечательнее, что о фамилии Бахметева так же никто не знал, как и о его существовании, и что он о своем предположении ни с кем не говорил до своего отъезда, а после его отъезда с ним никто не говорил.

Одним деньги эти нужны были для посылки эмиссаров, другим – для образования центров на Волге, третьим – для издания журнала. "Колоколом" они были недовольны и на наше приглашение работать в нем что-то поддавались туго.

Былое и думы (часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
я решительно денег не давал, и пусть требовавшие их сами скажут, где они были бы, если б я дал.

- Бахметев, - говорил я, - может воротиться без гроша, трудно сделать аферу, заводя социалистическую колонию на Маркизских островах.

- Он, наверное, умер.

- А как, назло вам, жив?

- Да ведь он деньги эти дал на пропаганду.

- Пока мне на нее не нужно.

- Да нам нужно.

- На что именно?

- Надобно послать кого-нибудь на Волгу, кого-нибудь в Одессу.

- Не думаю, чтоб очень нужно было

- Так вы не верите в необходимость послать?

- Не верю.

"Стареет и становится скуп", - говорили обо мне на разные тоны самые решительные и свирепые. "да что (325) на него смотреть; взять у него эти деньги, да и баста", - прибавляли еще больше решительные и свирепые. "А будет упираться, мы его так продернем в журналах, что будет помнить, как задерживать чужие деньги".

Денег я не дал.

В журналах они не продергивали. Ругательства в печати являются гораздо позже, но тоже из-за денег.

...Эти более свирепые, о которых я сказал, были те ультра, те угловатые и шершавые представители "нового поколения", которых можно назвать Собакевичами и Ноздревыми нигилизма.

Как ни излишне делать оговорку, но я ее сделаю, зная логику и манеру наших противников. В моих словах нет ни малейшего желания бросить камень ни в молодое поколение, ни в нигилизм. О последнем я писал много раз. Наши Собакевичи нигилизма не составляют сильнейшего выражения их, а представляют их чересчурную крайность⁴⁴. Кто же станет христианство судить по Оригеновым хлыстам и революцию по сентябрьским мясникам и робеспьеровским чулочницам?

Заносчивые юноши, о которых идет речь, заслуживают изучения, потому что и они выражают временной тип, очень определенно вышедший, очень часто повторявшийся, переходную форму болезни нашего развития из прежнего застоя.

Большей частью они не имели той выправки, которую дает воспитание, и той выдержки, которая приобретается научными занятиями. Они торопились в первом задоре освобождения сбросить с себя все условные формы и оттолкнуть все каучуковые подушки, мешающие жестким столкновениям. Это затруднило все простейшие отношения с ними.

Снимая все до последнего клочка, наши *enfants terribles*⁴⁵ гордо являлись, как мать родила, а родила-то она их плохо, вовсе не простыми дебелыми парнями, а наследниками дурной и нездоровой жизни низших педербуржских слоев. Вместо атлетических мышц и юной наготы обнаружались печальные следы наследственного худосочья, следы застарелых язв и разного рода колодок и шейников. Из народа было мало выходцев между ними. Передняя, казарма, семинария, мелкопоместная господская усадьба, перегнувшись в противоположное, сохранились в крови и мозгу, не теряя отличительных черт своих. На это, сколько мне известно, не обращали должного внимания.

С одной стороны, реакция против старого, узкого, давившего мира должна была

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru бросить молодое поколение в антагонизм и всяческое отрицание враждебной среды; тут нечего искать ни меры, ни справедливости. Напротив, тут делается назло, тут делается в отместку. "Вы лицемеры, – мы будем циниками; вы были нравственны на словах, – мы будем на словах злодеями; вы были учтивы с высшими и грубы с низшими, – мы будем грубы со всеми; вы кланяетесь не уважая, – мы будем толкаться, не извиняясь; у вас чувство достоинства было в одном приличии и внешней чести, – мы за честь себе поставим поспрашивание всех приличий и презрение всех points dhonneurov".

Но, с другой стороны, эта отрешенная от обыкновенных форм общежития личность была полна своих наследственных недугов и уродств. Сбрасывая с себя, как мы сказали, все покровы, самые отчаянные стали щеголять в костюме гоголевского Петуха, и притом не сохраняя позы Венеры Медицейской. Нагота не скрыла, а раскрыла, кто они. Она раскрыла, что их систематическая неотесанность, их грубая и дерзкая речь не имеет ничего общего с неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина и очень много с приемами подъяческого круга, торгового прилавка и лакейской помещичьего дома. Народ их так же мало считал за своих, как славянофилов в мурмолах. Для него они остались чужим, низшим слоем враждебного стана, исхудалыми баричами, стрекулистами без места, немцами из русских.

Для полной свободы им надобно забыть свое освобождение и то, из чего освободились, бросить привычки среды, из которой выросли. Пока этого не сделано, мы революционно узнаем переднюю, казарму, канцелярию и семинарию по каждому их движению и по каждому слову. (327)

Бить в рожу по первому возражению, если не кулаком, то ругательным словом, называть Ст. Милля ракалей, забывая всю службу его, – разве это не барская замашка, которая "старого Гаврилу за измятое жабо хлещет в ус и рыло"? Разве в этой и подобных выходках вы не узнаете квартального, исправника, станового, таскающего за седую бороду бурмистра? Разве в нахальной дерзости манер и ответов вы не ясно видите дерзость николаевской офицерщины, и в людях, говорящих свысока и с пренебрежением о Шекспире и Пушкине, – внучат Скалозуба, получивших воспитание в доме бабушки, хотевшего "дать фельдфебеля в Вольтеры"?

Самая проказа взяток уцелела в домогательстве денег нахрапом, с пристрастием и угрозами, под предлогом общих дел, в поползновении кормиться на счет службы и мстить кляузами и клеветами за отказ.

Все это переработается и перемелется, но нельзя не сознаться, – странную почву приготовили царская опека и императорская цивилизация в нашем "темном царстве", – почву, в которой многообещающие всходы проросли, с одной стороны, поклонниками Муравьевых и Катковых, с другой – дантистами/ нигилизма и базаровской беспардонной вольницы.

Много дренажа требуют наши черноземы!

(ГЛАВА IV). М. БАКУНИН И ПОЛЬСКОЕ ДЕЛО

В конце ноября мы получили от Бакунина следующее письмо:

"15 октября 1861. С.-Франсиско. Друзья, мне удалось бежать из Сибири, и, после долгого странствования по Амуру, по берегам Татарского пролива и через Японию, сегодня прибыл я в Сан-Франсиско.

Друзья, всем существом стремлюсь я к вам и, лишь только приеду, примусь за дело: буду у вас служить по польско-славянскому вопросу, который был моей идеей fixe с 1846 и моей практической специальностью в 48 и 49 годах. Разрушение, полное разрушение Австрийской империи будет моим последним словом; не говорю делом: это было бы слишком честолюбиво; для служения (328) ему я готов идти в барабанщики или даже в прохвосты, и, если мне удастся хоть на волос подвинуть его вперед, я буду доволен. А за ним является славная, вольная славянская федерация – единственный исход для России, Украины, Польши и вообще для славянских народов..."

О его намерении уехать из Сибири мы знали несколько месяцев прежде.

К Новому году явилась и собственная пышная фигура Бакунина в наших объятиях.

В нашу работу, в наш замкнутый двойной союз взошел новый элемент или, пожалуй, элемент старый, воскресшая тень сороковых годов, и всего больше 1848 года. Бакунин был тот же, он состарился только телом, дух его был молод и восторжен, как в Москве во время "всенощных" споров с Хомяковым; он был так же предан одной идее, так же способен увлекаться, видеть во всем исполнение своих желаний и идеалов, и еще больше готов на всякий опыт, на всякую жертву, чувствуя, что жизни вперед остается не так много и что, следственно, надобно торопиться и не пропускать ни одного случая. Он тяготился долгим изучением, взвешиванием pro и contra⁴⁶ и рвался, доверчивый и отвлеченный, как прежде, к делу, лишь бы оно было среди бурь революции, среди разгрома и грозной обстановки⁴⁷. Он и теперь, как в статьях Жюль Элизара, повторял: "Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust"⁴⁸. Фантазии и идеалы, с которыми его заперли в Кенигштейн в 1849, он сберег и привез их через Японию и Калифорнию в 1861 году во всей целости. Даже язык его напоминал лучшие статьи "Реформы" и "Vraie République", резкие речи de la Constituante⁴⁹ и клуба Бланки. Тогдашний дух партий, их исключительность, их симпатии и антипатии к лицам и пуще всего их вера в близость второго пришествия революции – все было налицо.

Тюрьма и ссылка необыкновенно сохраняют сильных (329) людей, если не тотчас их губят; они выходят из нее, как из обморока, продолжая то, на чем они лишились сознания. Декабристы возвратились из-под сибирского снега моложе потоптанной на корню молодежи, которая их встретила. В то время как два поколения французов несколько раз менялись, краснели и бледнели, поднимаемые приливами и уносимые назад отливами, Барбес и Бланки остались бессменными маяками, напоминавшими из-за тюремных решеток, из-за чужой дали прежние идеалы во всей чистоте.

"Польско-славянский вопрос... разрушение Австрийской империи... вольная славянская и славная федерация..." И все это сейчас, как только он приедет в Лондон... и пишется из С.-Франсиско, – одна нога в корабле!

Европейская реакция не существовала для Бакунина, не существовали и тяжелые годы от 1848 до 1858; они ему были известны вкратце, издалека, слегка. Он их прочел в Сибири так, как читал в Кайданове о Пунических войнах и о падении Римской империи. Как человек, возвратившийся после мора, он слышал, кто умер, и вздохнул об них обо всех; но он не сидел у изголовья умирающих, не надеялся на их спасение, не шел за их гробом. Совсем напротив, события 1848 были возле, близки к сердцу, подробные и живые... разговоры с Косидьером, речи славян на Пражском съезде, споры с Араго или Руге – все это было для Бакунина вчера, звенело в ушах, мелькало перед глазами.

Впрочем, оно и, сверх тюрьмы, немудрено.

Первые дни после февральской революции были лучшими днями жизни Бакунина. Возвратившись из Бельгии, куда его вытурил Гизо за его речь на польской годовщине 29 ноября 1847, он с головой нырнул во все тяжкие революционного моря. Он не выходил из казарм монтаньяров, ночевал у них, ел с ними... и проповедовал... все проповедовал коммунизм, *et légalité du salaire*⁵⁰, нивелирование во имя равенства, освобождение всех славян, уничтожение всех Австрии, революцию en permanence⁵¹, войну до избиения последнего врага. Префект с баррикад, делавший "порядок из беспорядка", Косидьер не знал, как выжить дорогого проповедника, и придумал с флюксом отправить его в самом деле к славянам с братской акколадой⁵² и уверенностью, что он там себе сломит шею и мешать не будет. "Que! homme! Que! homme!"⁵³ – говорил Косидьер о Бакунине. – В первый день революции это просто клад, а на другой день надобно расстрелять"⁵⁴.

Когда я приехал в Париж из Рима, в начале мая 1848, Бакунин уже витийствовал в Богемии, окруженный староверческими монахами, чехами, кроатами, демократами, и витийствовал до тех пор, пока князь Виндишгрец не положил пушками предел красноречья (и не воспользовался хорошим случаем, чтоб по сей верной оказии не подстрелить невзначай своей жены), Исчезнув из Праги, Бакунин является военным начальником Дрездена; бывший артиллерийский офицер учит военному делу поднявших оружие профессоров, музыкантов и фармацевтов... советует им "Мадонну" Рафаэля и картины Мурильо поставить на городские стены и ими защищаться от пруссаков, которые *zu klassisch gebildet*⁵⁵, чтоб осмелились стрелять по Рафаэлю.

Артиллерия ему вообще помогала. По дороге из Парижа в Прагу он наткнулся где-то в Германии на возмущение крестьян, они шумели и кричали перед замком, не умея

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru ничего сделать. Бакунин вышел из повозки – и, не имея времени узнать в чем дело, построил крестьян и так ловко научил их, что, когда пошел садиться в повозку, чтоб продолжать путь, – замок пылал с четырех сторон.

Бакунин когда-нибудь переломит свою лень и сдержит обещание: он когда-нибудь расскажет длинный мартиролог, начавшийся для него после взятия Дрездена. Напомню здесь главные черты. Бакунин был приговорен к эшафоту. Король саксонский заменил топор (331) вечной тюрьмой, потом, без всякого основания, передал его в Австрию. Австрийская полиция думала от него узнать что-нибудь о славянских замыслах. Бакунина посадили в Градчин и, ничего не добившись, отослали его в Ольмюц. Бакунина, скованного, везли под сильным конвоем драгун; офицер, который сел с ним в повозку, зарядил при нем пистолет.

– Это для чего же? – спросил Бакунин. – Неужели вы думаете, что я могу бежать при этих условиях?

– Нет, но вас могут отбить ваши друзья; правительство имело насчет этого слухи, и в таком случае...

– Что же?

– Мне приказано посадить вам пулю в лоб.

И товарищи поскакали.

В Ольмюце Бакунина приковали к стене, и в этом положении он пробыл полгода. Австрии, наконец, наскучило даром кормить чужого преступника; она предложила России его выдать; Николаю вовсе не нужно было Бакунина, но отказаться он не имел сил. На русской границе с Бакунина сняли цепи – об этом акте милосердия я слышал много раз; действительно, и цепи с него сняли, но рассказчики забыли прибавить, что зато надели другие, гораздо тяжелее. Офицер австрийский, сдавший арестанта, потребовал цепи как казенную к.-к.56 собственность.

Николай похвалил храброе поведение Бакунина в Дрездене и посадил его в Алексеевский рavelин. Туда он прислал к нему Орлова и велел ему сказать, что он желает от него записку о немецком и славянском движении (монарх не знал, что все подробности его были напечатаны в газетах). Записку эту он "требовал не как царь, а как духовник". Бакунин спросил Орлова, как понимает государь слово "духовник": в том ли смысле, что все сказанное на духу должно быть святой тайной? Орлов не знал, что сказать, – эти люди вообще больше привыкли спрашивать, чем отвечать. Бакунин написал журнальный leading article. Николай и этим был доволен. "Он – умный и хороший мальчик, но опасный человек, его надобно держать назаперти", и три целых года после этого высочайшего одобрения Бакунин был схоронен в Алексеевском рavelине. Содержание, (332) должно быть, было хорошо, когда и этот гигант изнемогал до того, что хотел лишиться себя жизни. В 1854 Бакунина перевели в Шлиссельбург. Николай боялся, что Чарльз Непир его освободит, но Чарльз Непир и С – nie освободили не Бакунина от рavelина, а Россию от Николая. Александр II, несмотря на припадок милостей и великодуший, оставил Бакунина в крепости до 1857 года, потом послал его на житье в Восточную Сибирь. В Иркутске он очутился на воле после девятилетнего заключения. Начальником края был там, на его счастье, оригинальный человек, демократ и татарин, либерал и деспот, родственник Михаила Бакунина и Михаила Муравьева, и сам Муравьев, тогда еще не Амурский. Он дал Бакунину вздохнуть, возможность человечески жить, читать журналы и газеты и сам мечтал с ним.:, о будущих переворотах и войнах. В благодарность Муравьеву Бакунин в голове назначил его главнокомандующим будущей земской армией, назначаемой им, в свою очередь, на уничтожение Австрии и учреждение славянского союзничества.

В 1860 году мать Бакунина просила государя о возвращении сына в Россию; государь сказал, что "при жизни его Бакунина из Сибири не переведут", но, чтоб и она не осталась без утешенья и царской милости, он разрешил ему вступить в службу писцом.

Тогда Бакунин, взяв в расчет красные щеки и сорокалетний возраст императора, решился бежать; я его в этом совершенно оправдываю. Последние годы лучше всего доказывают, что ему нечего в Сибири было ждать. Девяти лет каземата и нескольких лет ссылки было за глаза довольно. Не от его побега, как говорили, стало хуже политическим сосланным, а от того, что времена стали хуже, люди стали хуже.

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Какое влияние имел побег Бакунина на гнусное преследование, добивание Михайлова?
А что какой-нибудь Корсаков получил выговор... об этом не стоит и говорить.
Жаль, что не два.

Бегство Бакунина замечательно пространствами, это самое длинное бегство в географическом смысле. Пробравшись на Амур под предлогом торговых дел, он уговорил какого-то американского шкипера взять его с собой к японскому берегу. В Хакодате другой американский капитан взялся его довести до С.-Франсиско. Бакунин отправился к нему на корабль и застал моряка, (333) сильно хлопотавшего об обеде; он ждал какого-то почетного гостя и пригласил Бакунина. Бакунин принял приглашение и, только когда гость приехал, узнал, что это генеральный русский консул.

Скрываться было поздно, опасно, смешно... он прямо вступил с ним в разговор, сказал, что отпросился сделать прогулку. Небольшая русская эскадра, помнится адмирала Попова, стояла в море и собиралась плыть к Николаеву.

- Вы не с нашими ли возвращаетесь? - спросил консул.

- Я только что приехал, - отвечал Бакунин, - и хочу еще посмотреть край.

Вместе покушавши, они разошлись en bons amis⁵⁷. Через день он проплыл на американском пароходе мимо русской эскадры... Кроме океана, опасности больше не было.

Как только Бакунин огляделся и учредился в Лондоне, то есть перезнакомился со всеми поляками и русскими, которые были налицо, он принялся за дело. С страстью проповедования, агитации... пожалуй, демагогии, с непрерывными усилиями учреждать, устраивать комплоты⁵⁸, переговоры, заводить сношения и придавать им огромное значение у Бакунина прибавляется готовность первому идти на исполнение, готовность погибнуть, отвага принять все последствия. Это натура героическая, оставленная историей не у дел. Он тратил свои силы иногда на вздор, так, как лев тратит шаги в клетке, все думая, что выйдет из нее. Но он не ритор, боящийся исполнения своих слов или уклоняющийся от осуществления своих общих теорий...

Бакунин имел много недостатков. Но недостатки его были мелки, а сильные качества - крупны. Разве это одно не великое дело, что, брошенный судьбою куда б то ни было и схватив две-три черты окружающей среды, он отделял революционную струю и тотчас принимался вести ее далее, раздувать, делая ее страстным вопросом жизни?

Говорят, будто И. Тургенев хотел нарисовать портрет Бакунина в Рудине, но Рудин едва напоминает не(334)которые черты Бакунина. Тургенев, увлекаясь библейской привычкой бога, создал Рудина по своему образу и подобию; Рудин Тургенев 2-й, наслушавшийся философского жаргона молодого Бакунина,

В Лондоне он, во-первых, стал ревомоционщовать "Колокол" и говорил в 1862 против нас почти то, что говорил в 1847 про Белинского. Мало было пропаганды, надобно было неминуемое приложение, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близких и дальних людей, надобны были "посвященные и полупосвященные братья", организация в крае - славянская организация, польская организация. Бакунин находил нас умеренными, не умеющими пользоваться тогдашним положением, недостаточно любящими решительные средства. Он, впрочем, не унывал и верил, что в скором времени поставит нас на путь истинный. В ожидании нашего обращения Бакунин сгруппировал около себя целый круг славян. Тут были чехи, от литератора Фрича до музыканта, называвшегося Наперстком, сербы, которые просто величались по батюшке - Иоанович, Данилович, Петрович, были валахи, состоявшие в должности славян, с своим вечным еско на конце; наконец, был болгар, лекарь в турецкой армии, и поляки всех епархий... бонапартовской, мерославской, чарторижской... демократы без социальных идей, но с офицерским оттенком, социалисты католики, анархисты - аристократы и просто солдаты, хотевшие где-нибудь подраться, в Северной или Южной Америке... и преимущественно в Польше.

Отдохнул с ними Бакунин за девятилетнее молчание и одиночество. Он спорил, проповедовал, распоряжался, кричал, решал, направлял, организовывал и ободрял целый день, целую ночь, целые сутки. В короткие минуты, остававшиеся у него свободными, он бросался за свой письменный стол, расчищал небольшое место от золы и принимался писать пять, десять, пятнадцать писем в Семипалатинск и Арад, в Белград и Царьград, в Бессарабию, Молдавию и Белокриницу. Середь письма он

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru бросал перо и приводил в порядок какого-нибудь отсталого далмата... и, не кончивши своей речи, схватывал перо и продолжал писать, что, впрочем, для него было облегчено тем, что он писал и говорил об одном и том же. Деятельность его, праздность, аппетит и все остальное (335), как гигашский рост и вечный пот, - все было не по человеческим размерам, как он сам; а сам он исполин с львиной головой, с всклоченной гривой.

В пятьдесят лет он был решительно тот же кочующий студент с Маросейки, тот же бездомный bohime с Rue de Bourgogne⁵⁹; без заботы о завтрашнем дне, пренебрегая деньгами, бросая их, когда есть, занимая их без разбора направо и налево, когда их нет, с той простотой, с которой дети берут у родителей - без заботы об уплате, с той простотой, с ко/горой он сам готов отдать всякому последние деньги, отделив от них, что следует, на сигареты и чай. Его этот образ жизни не теснил... он родился быть великим бродягой, великим бездомником. Если б его кто-нибудь спросил окончательно, что он думает о праве собственности, он мог бы сказать то, что отвечал Лаланд Наполеону о боге: "Sire, в моих занятиях я не встречал никакой необходимости в этом праве!"

В нем было что-то детское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло к нему слабых и сильных, отталкивая одних чопорных мещан⁶⁰.

Как он дошел до женитьбы, я могу только объяснить сибирской скукой. Он свято сохранил все привычки и обычаи родины, то есть студентской жизни в Москве, - груды табаку лежали на столе вроде приготовленного фуража, зола сигар под бумагами и недопитыми стаканами чая... с утра дым столбом ходил по комнате от целого хора курильщиков, куривших точно взпуски, торопясь, задыхаясь, затыкаясь, словом, так, как курят одни русские и славяне. Много раз наслаждался я удивлением, сопровождавшимся некоторым ужасом и замешательством, хозяйской горничной Гресс, когда она глубокой ночью приносила пятую сахарницу сахару и горячую воду в эту готовальню славянского освобождения.

Долго, после отъезда Бакунина из Лондона - No 10 Paddington green рассказывали об его житье-(336)бытье, ниспровергнувшем все упроченные английскими мещанами понятия и религиозно принятые ими размеры и формы. Заметьте при этом, что горничная и хозяйка без ума любили его.

- Вчера, - говорит Бакунину один из его друзей, - приехал такой-то из России, прекрасный человек, бывший офицер...

- Я слышал об нем, его очень хвалили.

- Можно его привести?

- Непременно, да что привести! Где он? Сейчас!

- Он, кажется, несколько конституционалист.

- Может быть, но ..

- Но я знаю, рыцарски отважный и благородный человек.

- И верный?

- Его очень уважают в Orssett House.

- Идем.

- Куда же? Ведь он хотел к вам прийти, - мы так сговорились; я его приведу.

Бакунин бросается писать, пишет, кой-что перемарывает, переписывает и надписывает в Яссы, запечатывает пакет и в беспокойстве ожидания начинает ходить по комнате ступней, от которой и весь дом No 10 Paddington green ходит ходнем с ним вместе.

Является офицер - скромно и тихо. Бакунин le met a laise⁶¹, говорит, как товарищ, как молодой человек, увлекает, журит за конституционализм и вдруг спрашивает:

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
- Вы, наверно, не откажетесь сделать что-нибудь для общего дела?

- Без сомнения...

- Вас здесь ничего не удерживает?

- Ничего - я только что приехал... я...

- Можете вы ехать завтра, послезавтра с этим письмом в Яссы?

Этого не случилось с офицером ни в действующей армии во время войны, ни в генеральном штабе во время мира, однако, привыкший к военному послушанию, он, помолчавши, говорит не совсем своим голосом:

- Ода!

- Я так и знал. Вот письмо, совсем готовое. (337)

- Да я хоть сейчас..., только... - офицер конфузится, - я никак не рассчитывал на эту поездку.

- Что, денег нет? Ну, так и говорите. Это ничего не значит. Я возьму для вас у Герцена - вы ему потом отдадите. Что тут... всего... всего какие-нибудь двадцать liv. Я сейчас напишу ему. В Яссах вы деньги найдете. Оттуда проберитесь на Кавказ. Там нам особенно нужен верный человек...

Пораженный, удивленный офицер и его спутник, пораженный и удивленный, как и он, уходят. - Маленькая девочка, бывшая у Бакунина на больших дипломатических посылках, летит ко мне по дождю и слякоти с запиской. Я для нее нарочно завел шоколад en losange62, чтоб чем-нибудь утешить ее в климате ее отечества, а потому даю ей большую горсть и прибавляю:

- Скажите высокому gentlemanу, что я лично с ним переговорю.

Действительно, переписка оказывается излишней. - К обеду, то есть через час, является Бакунин.

- Зачем двадцать фунтов для **?

- Не для него, для дела... а что, брат, ** - прекраснейший человек!

- Я его знаю несколько лет - он бывал прежде в Лондоне.

- Это такой случай... пропустить его грешно, я его посылаю в Яссы. Да потом он осмотрит Кавказ.

- В Яссы?... И оттуда на Кавказ?

- Ты пойдешь сейчас острить. Каламбурами ничего не докажешь...

- Да ведь тебе ничего не нужно в Яссах.

- Ты почему знаешь?

- Знаю потому, во-первых, что никому ничего не нужно в Яссах, а во-вторых, если б нужно было, ты неделю бы постоянно мне говорил об этом. Тебе попался человек молодой, застенчивый, хотящий доказать свою преданность, - ты и придумал послать его в Яссы. Он хочет видеть выставку, а ты ему покажешь Молдовалахию. Ну, скажи-ка, зачем?

- Какой любопытный. Ты в эти дела со мной не входишь, какое же ты имеешь право спрашивать? (338)

- Это правда; я даже думаю, что этот секрет ты скроешь ото всех... ну, а только денег давать на гонцов в Яссы и Букарест я несколько не намерен.

- Ведь он отдаст, у него деньги будут.

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
– Так пусть умнее употребит их – полно, полно, письмо пошлешь с каким-нибудь Петреско-Манон-Леско – а теперь пойдем есть.

И Бакунин, сам смеясь и качая головой, которая его все-таки перетягивала, внимательно и усердно принимался за труд обеда, после которого всякий раз говорил: "Теперь настала счастливая минута", и закуривал папироску.

Бакунин принимал всех, всегда, во всякое время. Часто он еще, как Онегин, спал или ворочался на постели, которая хрустела, а уж два-три славянина с отчаянной торопливостью курили в его комнате; он тяжело вставал, обливался водой и в ту же минуту принимался их поучать; никогда не скучал он, не тяготился ими; он мог, не уставая, говорить со свежей головой с самым умным и самым глупым человеком. От этой неразборчивости выходили иногда пресмешные вещи.

Бакунин вставал поздно: нельзя было иначе и сделать, употребляя ночь на беседу и чай.

Раз, часу в одиннадцатом, слышит он, кто-то копошится в его комнате. Постель его стояла в большом алькове, задернутом занавесью.

– Кто там? – кричит Бакунин, просыпаясь.

– Русский.

– Ваша фамилия?

– Такой-то.

– Очень рад.

– Что вы это так поздно встаете – а еще демократ...

...Молчание... слышен плеск воды... каскады.

– Михаил Александрович!

– Что?

– Я вас хотел спросить: вы венчались в церкви?

– Да.

– Нехорошо сделали. Что за образец непоследовательности; вот и Тургенев свою дочь прочит замуж, – вы, старики, должны нас учить... примером...

– Что вы за вздор несете...

– Да вы скажите, по любви женились? (339)

– Вам что за дело?

– У нас был слух, что вы женились оттого, что невеста ваша была богатабз.

– Что вы это – допрашивать меня пришли. Ступайте к черту!

– Ну, вот вы и рассердились – а я, право, от чистой души. Прощайте. А я все-таки зайду.

– Хорошо, хорошо, – только будьте умнее. ...Между тем польская гроза приближалась больше и больше. Осенью 1862 явился на несколько дней в Лондоне Потенбня. Грустный, чистый, беззаветно отдавшийся урагану – он приезжал поговорить с нами от себя и от товарищей и все-таки идти своей дорогой. Чаше и чаще являлись поляки из края – их язык был определеннее и резче, они шли к взрыву – прямо и сознательно. Мне с ужасом мерещилось, что они идут в неминуемую гибель.

– Смертельно жаль Потенбню и его товарищей, – говорил я Бакунину, – и тем больше, что вряд по дороге ли им с поляками...

- По дороге, по дороге! - возражал Бакунин. - Не сидеть же нам вечно сложа руки и рефлектируя. Историю надобно принимать, как представляется, не то всякий раз будешь зауряд то позади, то впереди.

Бакунин помолодел - он был в своем элементе. Он любил не только рев восстания и шум клуба, площадь и баррикады, он любил также и приготовительную агитацию, эту возбужденную и вместе с тем задержанную жизнь конспирации, консультаций, неспяных ночей, переговоров, договоров, ректификации⁶⁴ шифров, химических чернил и условных знаков. Кто из участников не знает, что репетиции к домашнему спектаклю и приготовление елки составляют одну из лучших и изящных частей. Но как он ни увлекался приготовлениями елки, у меня на сердце скреблись кошки - я постоянно спорил с ним и нехотя делал не то, что хотел.

Здесь я останавливаюсь на грустном вопросе. Каким образом, откуда взялась во мне эта уступчивость с ропотом, эта слабость - с мятежом и протестом? С одной стороны, достоверность, что поступать надобно так; (340) с другой, готовность поступать совсем иначе. Эта шаткость, эта неспетость, *dises zfernde*⁶⁵ наделали в моей жизни бездну вреда и не оставили даже слабую утеху в сознании ошибки невольной, несознанной; я делал промахи а *contre soeur*⁶⁶ вся отрицательная сторона была у меня перед глазами. Я рассказывал в одной из предыдущих частей мое участие в 13 июне 1849. Это тип того, о чем я говорю. Ни на одну минуту я не верил в успех 13 июня, я видел нелепость движения и его бессилие, народное равнодушие, освидрелость реакций и мелкий уровень революционеров; я писал об этом и все же пошел на площадь, смеясь над людьми, которые шли.

Сколькими несчастьями было бы меньше в моей жизни... сколькими ударами, если б я имел во всех важных случаях силу слушаться самого себя... Меня упрекали в увлекающемся характере... Увлекался и я, но это не составляет главного. Отдаваясь по удобовпечатлительности, я тотчас останавливался мыслью, рефлексия и наблюдательность всегда почти брали верх в теории, но не в практике. Тут и лежит вся трудность задачи, почему я давал себя вести *poiens-volens*⁶⁷... Причиной быстрой сговорчивости был ложный стыд, а иногда и лучшие побуждения - любви, дружбы, снисхождения... но почему же все это побеждало логику?..

...После похорон Ворцеля - 5 февраля 1857, когда все провожавшие разбрелись по домам и я, воротившись в свою комнату, сел грустно за свой письменный стол, мне пришел в голову печальный вопрос: не опустили ли мы в землю вместе с этим праведником и не схоронили ли с ним все наши отношения с польской эмиграцией?

Кроткая личность старика, являвшаяся примиряющим началом при беспрерывно возникавших недоразумениях, исчезла, а недоразумения остались. Частно, лично мы могли любить того, другого из поляков, быть с ними близкими - но вообще одинакового пониманья между нами было мало, и оттого отношения наши были натянуты, добросовестно неоткровенны, мы делали друг другу уступки, то есть ослабляли сами себя, уменьшали друг в друге чуть ли не лучшие силы. (341)

Договориться до одинакового пониманья было невозможно. Мы шли с разных точек - и пути наши только пересекались в общей ненависти к петербургскому самовластью. Идеал поляков был за ними: они шли к своему прошедшему, насильственно срезанному, и только оттуда могли продолжать свой путь. У них была бездна мощей, а у нас - пустые колыбели. Во всех их действиях и во всей поэзии столько же отчаянья, сколько яркой веры

Они ищут воскресения мертвых - мы хотим поскорее схоронить своих. Формы нашего мышления, упования не те, весь гений наш, весь склад не имеет ничего сходного. Наше соединение с ними казалось им то *тй-salliance*ом, то рассудочным браком. С нашей стороны было больше искренности, но не больше глубины, - мы сознавали свою косвенную вину, мы любили их отвагу и уважали их несокрушимый протест. Что они могли в нас любить? Что уважать? Они переламаывали себя сближаясь с нами, они делали для нескольких русских почетное исключение.

В острожной темноте николаевского царствования, сидя назаперти тюремными товарищами, мы больше сочувствовали друг другу, чем знали. Но когда окно немного приотворилось, мы догадались, что нас привели по разным дорогам и что мы разойдемся по разным. После Крымской кампании мы радостно вздохнули, а их наша радость оскорбила: новый воздух в России им напомнил их утраты, а не надежды. У нас новое время началось с заносчивых требований, мы рвались вперед, готовые все

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
ломать... у них – с панихид и упокойных молитв.

Но правительство второй раз нас спаяло с ними. Перед выстрелами по попам и детям, по распятьям и детям, перед выстрелами по гимнам и молитвам замолкли все вопросы, стерлись все различия... Со слезами и плачем написал я тогда ряд статей, глубоко тронувших поляков.

Старик Адам Чарторижский со смертного одра прислал мне с сыном теплое слово; в Париже депутация поляков поднесла мне адрес, подписанный четырьмястами изгнанников, к которому присылались подписи отовсюду, – даже от польских выходцев, живших в Алжире и Америке. Казалось, во многом мы были близки, но шаг глубже – и рознь, резкая рознь бросалась в глаза. (342)

...Раз у меня сидели Ксаверий Браницкий, Хоецкий и еще кто-то из поляков все они были проездом в Лондоне и захвали пожать мне руку за статьи. Зашла речь о выстреле в Константина.

– Выстрел этот, – сказал я, – страшно повредит вам. Может, правительство и уступило бы кое-что, теперь оно ничего не уступит и сделается вдвое свирепее.

– Да мы только этого и хотим! – заметил с жаром Ш.-Э. – Для нас нет хуже несчастья, как уступки... мы хотим разрыва... открытой борьбы!

– Желаю от души, чтоб вы не раскаялись.

Ш.-Э. иронически улыбнулся, и никто не прибавил ни слова. Это было летом 1861. А через полтора года говорил то же Падлевский, отправляясь через Петербург в Польшу.

Кости были брошены!..

Бакунин верил в возможность военно-крестьянского восстания в России, верили отчасти и мы – да верило и само правительство – как оказалось впоследствии рядом мер, статей по казенному заказу и казней по казенному приказу. Напряжение умов, брожение умов было неоспоримо, и никто не предвидел тогда, что его свернут на свирепый патриотизм.

Бакунин, не слишком останавливаясь на взвешивании всех обстоятельств, смотрел на одну дальнюю цель и принял второй месяц беременности за девятый. Он увлекал не доводами – а желанием. Он хотел верить и верил, что Жмудь и Волга, Дон и Украина восстанут, как один человек, услышав о Варшаве, он верил, что наш староввер воспользуется католическим движением, чтоб узаконить раскол.

В том, что между офицерами войск, расположенных в Польше и Литве, общество, к которому принадлежал Потемня, росло и крепло, – в этом сомнения не могло быть – но оно далеко не имело той силы, которую ему преднамеренно придавали поляки и наивно Бакунин...

Как-то, в конце сентября, пришел ко мне Бакунин, особенно озабоченный и несколько торжественный.

– Варшавский Центральный комитет, – сказал он, – прислал двух членов, чтоб переговорить с нами. Одного из них ты знаешь – это Падлевский, другой Гиллер, закаленный боец, он из Польши прогулялся в кандалах до рудников и, только что возвратился, снова (343) принялся за дело. Сегодня вечером я их приведу к вам, а завтра соберемся у меня – надобно окончательно определить наши отношения.

Тогда набирался мой ответ офицерам68.

– Моя программа готова; я им прочту мое письмо.

– Я согласен с твоим письмом – ты это знаешь... но не знаю, все ли понравится им; во всяком случае, я думаю, что этого им будет мало.

Вечером Бакунин пришел с тремя гостями вместо двух. Я прочел мое письмо. Во время разговора и чтения Бакунин сидел встревоженный, как бывает с родственниками на экзамене или с адвокатами, трепещущими, чтоб их клиент не проврался бы и не испортил бы всей игры защиты – хорошо налаженной, если не по

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
всей правде, то к успешному концу.

Я видел по лицам, что Бакунин угадал – и что чтение не то чтоб особенно понравилось.

– Прежде всего, – заметил Гиллер, – мы прочтем письмо к вам от Центрального комитета.

Читал Милович; документ этот, известный читателям "Колокола", был написан по-русски, не совсем правильным языком, но ясно. Говорили, что я его перевел с французского и переиначил – это неправда. Все трое говорили хорошо по-русски.

Смысл акта состоял в том, чтоб через нас сказать русским, что слагающееся польское правительство согласно с нами и кладет в основание своих действий "Признание права . крестьян на землю, обрабатываемую ими, и полную самоправность всякого народа располагать своей судьбой". Это заявление, говорил М., обязывало меня смягчить вопросительную и "сомневающуюся" форму в моем письме. Я согласился на некоторые перемены и предложил им, с своей стороны, посильнее оттенить и яснее высказать мысль об samozаконности провинций; они согласились. Этот спор из-за слов показывал, что сочувствие наше к одним и тем же вопросам не было одинаково.

На другой день утром Бакунин уже сидел у меня. Он был недоволен мной, находил, что я слишком холоден, как будто не доверяю. (344)

– Чего же ты больше хочешь? Поляки никогда не делали таких уступок. Они выражаются другими словами, принятыми у них, как катехизис; нельзя же им, подымая национальное знамя, на первом шаге оскорбить раздражительное народное чувство...

– Мне все кажется, что им до крестьянской земли в сущности мало дела, а до провинций слишком много.

– Любезный друг, у тебя в руках будет документ, поправленный тобой, подписанный при всех нас, чего же тебе еще?

– Есть–таки кое–что.

– Как для тебя труден каждый шаг – ты вовсе не практический человек.

– Это уже прежде тебя говорил Сазонов. Бакунин махнул рукой и пошел в комнату к Огареву. Я печально смотрел ему вслед; я видел, что он запил свой революционный запой и что с ним не столкнешь теперь. Он шагал семимильными сапогами через горы и моря, через годы и поколенья – за восстанием в Варшаве он уже видел свою "славную и славянскую" федерацию, о которой поляки говорили не то с ужасом, не то с отвращением... он уже видел красное знамя "Земли и воли" развевающимся на Урале и Волге, на Украине и Кавказе, пожалуй на Зимнем дворце и Петропавловской крепости, – и торопился сгладить как–нибудь затруднения, затушевать противуречия, не выполнить овраги – а бросить через них чертов мост.

– Ты точно дипломат на Венском конгрессе, – повторял мне с досадой Бакунин, когда мы потом толковали у него с представителями жонда, придираешься к словам и выражениям. Это не журнальная статья, не литература.

– С моей стороны, – заметил Гиллер, – я из-за слов спорить не стану, меняйте, как хотите, лишь бы главный смысл остался тот же.

– Bravo, Гиллер! – радостно воскликнул Бакунин.

"Ну, этот, – подумал я, – приехал подкованный и по-летнему и на шипы, он ничего не уступит на деле и оттого так легко уступает все на словах".

Акт поправили, члены жонда подписались; я его послал в типографию.

Гиллер и его товарищи были убеждены, что мы представляли заграничное средоточие целой организации, (345) зависящей от нас, и которая по нашему приказу примкнет к ним или нет. Для них действительно дело было не в словах и не в теоретическом согласии; свое profession de foi69 они всегда могли оттенить толкованиями – так,

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
что его яркие цвета пропали бы, полиняли и изменились.

Что в России клались первые ячейки организации – в этом не было сомнения первые волокны, нити были заметны простому глазу, из этих нитей, узлов могла образоваться при тишине и времени обширная ткань – все это так, но ее не было, и каждый сильный удар грозил сгубить работу на целое поколение и разорвать начальные кружева паутины.

Вот это–то я и сказал, отправив печатать письмо Комитета, Гиллеру и его товарищам, говоря им о несвоевременности их восстания. Падлевский слишком хорошо знал Петербург, чтоб удивиться моим словам, хотя и уверял меня, что сила и разветвления общества "Земли и воли" идут гораздо дальше, чем мы думаем, – но Гиллер призадумался.

– Вы думали, – сказал я ему, улыбаясь, – что мы сильнее... Да, Гиллер, вы не ошиблись: сила у нас есть большая и деятельная, но сила эта вся утверждается на общественном мнении, то есть она может сейчас улетучиться, мы сильны сочувствием к нам, унисоном с своими. Организации, которой бы мы сказали: "Иди направо или налево" – нет.

– Да, любезный друг... однако же... – начал Бакунин, ходивший в волнении по комнате.

– Что же, разве есть? – спросил я его и остановился.

– Ну, это как ты хочешь назвать – конечно, если. Взять внешнюю форму... это совсем не в русском характере... Да видишь...

– Позволь же мне кончить – я хочу пояснить Гиллеру, почему я так настаивал на слова. Если в России на вашем знамени не увидят надел земли и волю провинциям – то наше сочувствие вам не принесет никакой пользы – а нас погубит... потому что вся наша сила в одинаковом биении сердца, у нас оно, может, бьется посильнее и потому ушло секундой вперед, чем у друзей (346) наших, но они связаны с нами сочувствием, а не службой!

– Вы будете нами довольны, – говорили Гиллер и Падлевский.

Через день двое из них отправились в Варшаву – третий уехал в Париж.

Наступило затишье перед грозой. Время томное, тяжелое, в которое все казалось, что туча пройдет, а она все приближалась – тут явился указ о "подтасованном" наборе – это была последняя капля; люди, еще останавливавшиеся перед решительным и невозвратным шагом, рвались на бой. Теперь и белые стали переходить на сторону движенья.

Приехал опять Падлевский. Подождали дни два. Набор не отменялся. Падлевский уехал в Польшу.

Бакунин собирался в Стокгольм (совершенно независимо от экспедиции Лапинского, о которой тогда никто не думал). Мельком явился Потеня и исчез вслед за Бакуниным.

Вслед за Потеней приехал через Варшаву из Петербурга уполномоченный от "Земли и воли". Он с негодованием рассказывал, как поляки, пригласившие его в Варшаву, ничего не сделали. Он был первый русский, видевший начало восстания. Он рассказал об убийстве солдат, о раненом офицере, который был членом общества. Солдаты думали, что это предательство, и начали с ожесточением бить поляков. Падлевский – главный начальник в Ковно – рвал волосы... но боялся явно выступить против своих.

Уполномоченный был полон важности своей миссии и пригласил нас сделаться агентами общества "Земли и воли". Я отклонил это, к крайнему удивлению не только Бакунина, но и Огарева... Я сказал, что мне не нравится это битое французское название. Уполномоченный трактовал нас так, как комиссары Конвента 1793 трактовали генералов в дальних армиях. Мне и это не понравилось.

– А много вас? – спросил я.

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
– Это трудно сказать... несколько сот человек в Петербурге и тысячи три в провинциях.

– Ты веришь? – спросил я потом Огарева. Он промолчал.

– Ты веришь? – спросил я Бакунина. (347)

– Конечно, он прибавил... ну, нет теперь столько, так будут потом! – и он расхохотался.

– Это другое дело.

– В том-то все и состоит, чтоб поддержать слабые начинания; если б они были крепки, они и не нуждались бы в нас... – заметил Огарев, в этих случаях всегда недовольный моим скептицизмом.

– Они так и должны бы были явиться перед нами, откровенно слабыми, желающими дружеской помощи, а не предлагать глупое агентство.

– Это молодость... – прибавил Бакунин и уехал в Швецию.

А вслед за ним уехал и Потеня. Удручительно горестно я простился с ним я ни одной секунды не сомневался, что он прямо идет на гибель.

...За несколько дней до отъезда Бакунина прише Мартьянов, бледнее обыкновенного, печальнее обыкновенного; он сел в углу и молчал. Он страдал по России и носился с мыслью о возвращении домой. Шел спор о восстании. Мартьянов слушал молча, потом встал, собрался идти и вдруг, остановившись передо мной, мрачно сказал мне:

– Вы не сердитесь на меня, Александр Иванович, так ли, иначе ли, а "Колокол"-то вы порешили. Что вам за дело мешаться в польские дела... Поляки, может, и правы, но их дело шляхетское – не ваше. Не пожалели вы нас, бог с вами, Александр Иванович Попомните, что я говорил, – я-то сам не увижу, – я ворочусь домой. Здесь мне нечего делать.

– Ни вы не поедете в Россию, ни "Колокол" не погиб, – ответил я ему.

Он молча ушел, оставляя меня под тяжелым гнетом второго пророчества и какого-то темного сознания, что что-то ошибочное сделано.

Мартьянов как сказал, так и сделал, он воротился весной 1863 и пошелумирать на каторгу, сосланный своим "земским царем" за любовь к России, за веру в него.

К концу 1863 года расход "Колокола" с 2500, 2000 сошел на 500 и ни разу не подымался далее 1000 экземпляров.

Шарлотта Корде из Орла и Даниил из крестьян были правы!

(Писано) в конце 1865 в Montreux и Лозанне.) (348)

ПРИЛОЖЕНИЕ

(ОБРАЩЕНИЕ К КОМИТЕТУ РУССКИХ ОФИЦЕРОВ В ПОЛЬШЕ)

Друзья,

С глубокой любовью и глубокой печалью провожаем мы к вам вашего товарища; только тайная надежда, что это восстание будет отложено, сколько-нибудь успокаивает и за вашу участь и за судьбу всего дела.

Мы понимаем, что вам нельзя не примкнуть к польскому восстанию, какое бы оно ни было, вы искупите собой грех русского императорства; да сверх того, оставить Польшу на побиение без всякого протеста со стороны русского войска также имело бы свою вредную сторону безмолвно-покорного, безнравственного участия Руси в петербургском палачестве.

Тем не менее ваше положение трагично и безвыходно. Шанса на успех мы никакого не

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru видим. Даже если б Варшава на один месяц была свободна, то оказалось бы только, что вы заплатили долг своим участием в движении национальной независимости, но что воздвигнуть русского социального знамени Земли и воли - Польше не дано, а вы слишком малочисленны.

При теперешнем преждевременном восстании Польша, очевидно, погибнет, а русское дело надолго потонет в чувстве народной ненависти, идущей в связь с преданностью царю, и воскреснет только после, долго после, когда ваш подвиг перейдет в такое же преданье, как 14 декабря, и взволнует умы поколения, теперь еще не зачатого.

Вывод отсюда ясен: отклоните восстание до лучшего времени соединения сил, отклоните его всем вашим влиянием на польский комитет и влиянием на само правительство, которое со страха еще может отложить несчастный набор, отклоните всеми средствами, от вас зависящими.

Если ваши усилия останутся бесплодными, тут больше делать нечего, как покориться судьбе и принять неизбежное мученичество, хотя бы его последствием .был застой (349) России на десятки лет. По крайней мере сберегите по возможности людей и силы, чтоб из несчастного проигранного боя оставались элементы для будущей отдаленной победы.

Если же вы успеете и восстание будет отложено, тогда вы должны начертить себе твердую линию поведения и не уклоняться от нее.

Тогда вам надо иметь одно в виду - делать общее русское дело, а не исключительно польское. Составить целую неразрывную цепь тайного союза во всех войсках во имя Земли и воли и Земского собора, как сказано в вашем письме к русским офицерам. Для этого надо, чтоб русский офицерский комитет стал самобытно; поэтому центр его должен быть вне Польши. Вы должны вне себя организовать центр, которому сами подчинитесь; тогда вы будете командовать положением и поведете стройно организацию, которая придет к восстанию не во имя исключительно польской национальности, а во имя Земли и воли, и которая придет к восстанию не вследствие минутных потребностей и тогда, когда все силы рассчитаны и успех несомнителен.

Для нас этот план так ясен, что вы не можете не сознавать того, что надо делать.

Добейтесь его, каких бы трудов оно ни стоило.

Н. Огарев.

Друзья и братья. - Строки, писанные другом нашим, Николаем Платоновичем Огаревым, проникнуты искреннею и бесконечною преданностью к великому делу нашего народного да общеславянского освобождения. Нельзя не согласиться с ним, что общему мерному ходу славянского, и в особенности русского, поступательного движения преждевременное и частное восстание Польши грозит перерывом. Признаться надо, что, при настоящем настроении России и целой Европы, надежд на успех такого восстания слишком мало - и что поражение партии движения в Польше будет иметь непререкаемым последствием временное торжество царского деспотизма в России. - Но, с другой стороны, положение поляков до того невыносимо, что вряд ли у них станет надолго терпения. Само правительство гнусными мерами систематического и жестокого притеснения вызывает их, кажется, на восстание, отложить которое было бы по этому самому столько же (350) нужно для Польши, как и необходимо для России. - Отложение его до более дальнего срока было бы, без всякого сомнения, и для них и для нас спасительно. К этому вы должны устремить все усилия свои, не оскорбляя, однако, ни их священного права, ни их национального достоинства. Уговаривайте их сколько можете и доколь обстоятельства позволяют, но вместе с тем не теряйте времени, пропагандируйте и организуйтесь, дабы быть готовыми к решительной минуте, - и когда выведенные из последней меры и возможности терпения наши несчастные польские братья встанут, встаньте и вы не против них, а за них, - встаньте во имя русской чести, во имя славянского долга, во имя русского народного дела с кликом: "Земля и воля". - И если вам суждено погибнуть, сама гибель ваша послужит общему делу. А бог знает! Может быть, геройский подвиг ваш, в противность всем расчетам холодного рассудка, неожиданно увенчается и успехом?..

Что ж до меня касается, что бы вас ни ожидало, успех или гибель, я надеюсь, что мне будет дано разделить вашу участь. - Прощайте и, может быть, до скорого

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru свидания.

М. Бакунин.

(ГЛАВА V). ПАРОХОД "WARD JACKSON" R. WEATHERLEY&Co

Вот что случилось месяца за два до польского восстания. Один поляк, приехавший ненадолго из Парижа в Лондон, Иосиф Сверцекевич, – по приезде в Париж – был схвачен и арестован вместе с Хмелинским и Миловичем, о котором я упомянул при свидании с членами жонда.

Во всей арестации было много странного. Хмелинский приехал в десятом часу вечера; он никого не знал в Париже и прямо отправился на квартиру Миловича. Около одиннадцати явилась полиция.

– Ваш пасс, – спросил комиссар Хмелинского.

– Вот он, – и Хмелинский подал исправно визированный пасс на другое имя.

– Так, так – сказал комиссар, – я знал, что вы под этим именем. Теперь вашу портфель, – спросил он Сверцекевича. (351)

Она лежала на столе Он вынул бумаги, посмотрел и, передавая своему товарищу небольшое письмо с надписью Е. А. прибавил:

– Вот оно!

Всех трех арестовали, забрали у них бумаги, потоп выпустили, дольше других задержали Хмелинского – для полицейского изящества им хотелось, чтоб он назвался своим именем. Он им не сделал этого удовольствия – выпустили и его через неделю

Когда год или больше спустя прусское правительство делало нелепейший познанский процесс, прокурор в числе обвинительных документов представил бумаги, присланные из русской полиции и принадлежавшие Сверцекевичу. На возникший вопрос, каким образом бумаги эти очутились в России, прокурор спокойно объяснил, что, когда Сверцекевич был под арестом, некоторые из его бумаг были сообщены французской полицией русскому посольству.

Выпущенным полякам ведено было оставить Францию – они поехали в Лондон. В Лондоне он сам рассказывал мне подробности ареста и, по справедливости, всего больше дивился тому, что комиссар знал, что у него есть письмо с надписью Е А – Письмо это из рук в руки ему дал Маццини и просил его вручить Этьенну Араго.

– Говорили ли вы кому-нибудь о письме? – спросил я.

– Никому, решительно никому, – отвечал Сверцекевич.

– Это какое-то колдовство – не может же пасть подозрение ни на вас, ни на Маццини. Подумайте-ка хорошенько.

Сверцекевич подумал.

– Одно знаю я, – заметил он, – что я выходил на короткое время со двора и, помнится, портфель оставил в незапертом ящике.

– Ciew, ciew!70 Теперь позвольте, где вы жили?

– Там-то, в furnished appartements71.

– Хозяин англичанин?

– Нет, поляк.

– Еще лучше. А имя его? (352)

– Тур – он занимается агрономией.

– И многим другим – коли отдает меблированные квартиры. Тура этого я немного

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
знаю. Слышали вы когда-нибудь историю о некоем Михаловском?

- Так, мельком.

- Ну, я вам расскажу ее. Осенью пятьдесят седьмого года я получил через Брюссель письмо из Петербурга. Незнакомая особа извещала меня со всеми подробностями о том, что один из сидельцев у Трюбнера, Михаловский, предложил свои услуги III отделению шпионить за нами, требуя за труд двести фунтов - что в доказательство того, что он достоин и способен, он представлял список лиц, бывших у нас в последнее время, - и обещал доставить образчики рукописей из типографии.

Прежде чем я хорошенько обдумал, что делать, - я получил второе письмо того же содержания через дом Ротшильда.

В истине сведения я не имел ни малейшего сомнения. Михаловский, поляк из алииции, низкопоклонный, безобразный, пьяный, расторопный и говоривший на четырех языках, имел все права на звание шпиона и ждал только случая pour se faire valoir⁷².

Я решился ехать с Огаревым к Трюбнеру и уличить его, сбить на словах - и во всяком случае прогнать от Трюбнера. Для большей торжественности я пригласил с собой Пианчиани и двух поляков. Он был нагл, гадок, запирался, говорил, что шпион - Наполеон Шестаковский, который жил с ним на одной квартире... Вполовину я готов был ему верить, то есть что и приятель его шпион Трюбнеру я сказал, что я требую немедленной высылки его из книжной лавки. Негодяй путался, был гадок и противен и не умел ничего серьезного привести в свое оправдание.

- Это все зависть, - говорил он, - у кого из наших заведется хорошее пальто, сейчас другие кричат: "шпион!"

- Отчего же, - спросил его Зено Свентославский, - у тебя никогда не было хорошего пальто, а тебя всегда считали шпионом?

Все захохотали. (353)

- Да обидьтесь же наконец, - сказал Чернецкий.

- Не первый, - сказал философ, - имею дело с такими безумными.

- Привыкли, - заметил Чернецкий.

Мошенник вышел вон.

Все порядочные поляки оставили его, за исключением совсем спившихся игроков и совсем проигравшихся пьяниц. С этим Михаловским в дружеских отношениях остался один человек, - и этот человек ваш хозяин Тур.

- Да, это подозрительно. Я сейчас...

- Что сейчас?... Дело теперь не поправите, а имейте этого человека в виду. Какие у вас доказательства?

Вскоре после этого Сверцкевич был назначен жондом в свои дипломатические агенты в Лондон. Приезд в Париж ему был позволен - в это время Наполеон чувствовал то пламенное участие к судьбам Польши, которое ей стоило целое поколение и, может, всего будущего.

Бакунин был уже в Швеции - знакомясь со всеми, открывая пути в "Землю и волю" через Финляндию, слаживая посылку "Колокола" и книг и видаясь с представителями всех польских партий. Принятый министрами и братом короля - он всех уверил в неминуемом восстании крестьян и в сильном волнении умов в России. Уверил тем больше, что сам искренно верил, если не в таких размерах, то верил в растущую силу. Об экспедиции Лапинского тогда никто не думал. Цель Бакунина состояла в том, чтоб, устроивши все в Швеции, пробраться в Польшу и Литву и стать во главе крестьян.

Сверцкевич возвратился из Парижа с Домантовичем. В Париже они и их друзья придумали снарядить экспедицию на балтийские берега. Они искали парохода, искали дельного начальника и за тем приехали в Лондон. Вот как шла тайная негоциация

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
дела.

...Как-то получаю я записочку от Сверцекевича – он просил меня зайти к нему на минуту, говорил, что очень нужно и что сам он распростудился и лежит в злой мигрени. Я пошел. Действительно, застал больным и в постели. В другой комнате сидел Тхоржевский. Зная, что Сверцекевич писал ко мне и что у него есть дело, Тхоржевский хотел выйти, но Сверцекевич остановил его, и я очень рад, что есть живой свидетель нашего разговора. (354)

Сверцекевич просил меня, оставя все личные отношения и консидарации⁷³, сказать, ему по чистой совести и, само собой разумеется, в глубочайшей тайне об одном польском эмигранте, рекомендованном ему Маццини и Бакуниным, но к которому он полной веры не имеет.

– Вы его не очень любите, я это знаю, но теперь, когда дело идет первой важности, жду от вас истины, всей истины...

– Вы говорите о Булевском? – спросил я.

– Да.

Я призадумался. Я чувствовал, что могу повредить человеку, о котором все-таки не знаю ничего особенно дурного, и, с другой стороны, понимал, какой вред принесу общему делу, споря против совершенно верной антипатии Сверцекевича.

– Извольте, я вам скажу откровенно и все. Что касается до рекомендации Маццини и Бакунина, я ее совершенно отвожу. Вы знаете, как я люблю Маццини; но он так привык из всякого дерева рубить и из всякой глины лепить агентов и так умеет их в итальянском деле ловко держать в руках, что на его мнение трудно положиться. К тому же, употребляя все, что попало, Маццини знает, до какой степени и что поручить. Рекомендация Бакунина еще хуже: это большой ребенок, "большая лиза", как его называл Мартьянов, которому все нравятся. "Ловец человеков", он так радуется, когда ему попадется "красный" да притом славянин, что он далее не идет. Вы помянули о моих личных отношениях к Булевскому; следует же сказать и об этом. Л. Зенкович я Булевский хотели меня эксплуатировать, инициатива дела принадлежала не ему, а Зенковичу. Им не удалось, они рассердились, и я все это давно бы забыл, но они стали между Ворцелем и мной, и этого я им не прощаю. Ворцеля я очень любил, но, слабый здоровьем, он подчинился им и только спохватился (или признался, что спохватился) за день до кончины. Умирающей рукой сжимая мою руку, он шептал мне на ухо: "Да, вы были правы" (но свидетелей не было, а на мертвых ссылаться легко). Затем вот вам мое мнение: перебирая все, я не нахожу ни одного поступка, ни одного слуха даже, который бы заставлял подозревать политическую честность (355) Булевского; но я бы не замешал его ни в какую серьезную тайну. В моих глазах он – избалованный фразер, безмерно высокомерный и желающий во что бы то ни было играть роль; если же она ему не выпадет, он все сделает, чтоб испортить пьесу.

Сверцекевич привстал. Он был бледен и озабочен.

– Да, вы у меня сняли камень с груди... если не поздно теперь... я все сделаю.

Взволнованный Сверцекевич стал ходить по комнате. Я ушел вскоре с Тхоржевским.

– Слышали вы весь разговор? – спросил я у него, ид учи.

– Слышал.

– Я очень рад; не забывайте его – может, придет время, когда я сошлюсь на вас... А знаете что, мне кажется, он ему все сказал да потом и догадался проверить свою антипатию.

– Без всякого сомнения. – И мы чуть не расхохотались, несмотря на то что на душе было вовсе не смешно.

1-е нравоучение

...Недели через две Сверцекевич вступил в переговоры с Blackwood компанией пароходства – о найме парохода для экспедиции на Балтику.

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

- Зачем же, - спрашивали мы, - вы адресовались именно к той компании, которая десятки лет исполняет все комиссии по части судоходства для петербургского адмиралтейства?

- Это мне самому не так нравится, но компания так хорошо знает Балтийское море - к тому же она слишком заинтересована, чтоб выдать нас, да и это не в английских нравах.

- Все так - да как вам в голову пришло обратиться именно к ней?

- Это сделал наш комиссионер.

- То есть?

- Тур.

- Как, тот Тур?..

- О, насчет его можно быть покойным. Его самым лучшим образом нам рекомендовал Булевский.

У меняна минуту вся кровь бросилась в голову. Я смешался от чувства негодования, бешенства, оскорбленья, (356) да, да, личного оскорбленья... А делегат Речи Посполитой. ничего не замечавший, продолжал:

- Он превосходно знает по-английски - и язык и законодательство.

- В этом я не сомневаюсь, Тур как-то сидел в тюрьме в Лондоне за какие-то не совсем ясные дела и употреблялся присяжным переводчиком в суде.

- Как так?

- Вы спросите у Булевского или у Михаловского. Вы не знакомы с ним?

- Нет.

- Каков Тур - занимался земледельем, а теперь занимается вододельем...

Но общее внимание обратил на себя взошедший начальник экспедиции полковник Лапинский.

LAPINSKI-COLONEL. POLLES-AIDE DECAMP74

В начале 1863 года я получил письмо, написанное мелко, необыкновенно каллиграфически и .начинавшееся текстом "Sinite venire parvulos"⁷⁵. В самых изысканно льстивых, стелющихся выражениях просил у меня parvulus⁷⁶, называвшийся Polies, позволенья приехать ко мне Письмо мне очень не понравилось. Он сам - еще меньше. Низкопоклонный, тихий, вкрадчивый, бритый, напомаженный, он мне рассказал, что был в Петербурге в театральной школе и получил какой-то пансион, прикидывался сильно поляком и, просидевши четверть часа, сообщил мне, что он из Франции, что в Париже тоска и что там узел всем бедам, а узел узлов - Наполеон.

- Знаете ли, что мне приходило часто в голову, и я больше и больше убеждаюсь в верности этой мысли, - надобно решиться и убить Наполеона.

- За чем же дело стало?

- Да вы как об этом думаете? - спросил parvulus, несколько смутившись.

- Я никак. Ведь это вы думаете...

И тотчас рассказал ему историю, которую я всегда (357) употребляю в случаях кровавых бредней и совещаниях о них.

- Вы, верно, знаете, что Карла V водил в Риме по Пантеону паж. Пришедши домой, он сказал отцу, что ему приходила в голову мысль столкнуть императора с верхней галереи вниз. Отец взбесился. "Вот... (тут я варьирую крепкое слово, соображаясь

Былое и думы (часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru с характером цареубийцы in spe...77 негодяй, мошенник, дурак....), такой ты сякой! Как могут такие преступные мысли приходить в голову... и если могут - то их иногда исполняют, но никогда об этом не говорят..."78

Когда Поллес ушел, я решил его не пускать больше. Через неделю он встретился со мной близ моего дома, говорил, что два раза был и не застал, потолковал какой-то вздор и прибавил:

- Я, между прочим, заходил к вам, чтоб сообщить, какое я сделал изобретение, чтоб по почте сообщить что-нибудь тайное, например в Россию. Вам, верно, случается часто необходимость что-нибудь сообщить?

- Совсем напротив, никогда. Я вообще ни к кому тайно не пишу. Будьте здоровы.

- Прощайте, - вспомните, когда вам или Огареву захочется послушать кой-какой музыки - я и мой виолончель к вашим услугам.

- Очень благодарен.

И я потерял его из вида, с полной уверенностью, что это шпион - русский ли, французский ли, я не знал, может интернациональный, как "Nord" - журнал международный.

В польском обществе он нигде не являлся - и его никто не знал.

После долгих исканий Домантович и парижские друзья его остановились на полковнике Лапинском, как на способнейшем военном начальнике экспедиции. Он был долго на Кавказе со стороны черкесов и так хорошо знал войну в горах, что о море и говорить было нечего. Дурным выбором назвать нельзя. (358)

Лапинский был в полном слове кондотьер. Твердых политических убеждений у него не было никаких. Он мог идти с белыми и красными, с чистыми и грязными; принадлежа по рождению к галицийской шляхте, по воспитанию - к австрийской армии, он сильно тянул к Вене. Россию и все русское он ненавидел дико, безумно, несправимо. Ремесло свое, вероятно, он знал, вел долго войну и написал замечательную книгу о Кавказе.

- Какой случай раз был со мной на Кавказе, - рассказывал Лапинский. Русский майор, поселившийся с целой усадьбой своей недалеко от нас, не знаю, как и за что, захватил наших людей. Узнаю я об этом и говорю своим: "Что же это? Стыд и страм - вас, как баб, крадут! Ступайте в усадьбу и берите что попало и тащите сюда". Горцы, знаете, - им не нужно много толковать. На другой или третий день привели мне всю семью: и слуг, и жену, и детей, самого майора дома "е было. Я послал повестить, что если наших людей отпустят, да такой-то выкуп, то мы сейчас доставим пленных. Разумеется - наших прислали, рассчитались - и мы отпустили московских гостей. На другой день приходит ко мне черкес. "Вот, говорит, что случилось; мы, говорит, вчера, как отпускали русских, забыли мальчика лет четырех: он спал... так и забыли... Как же быть?" - Ах вы, собаки... не умеете ничего сделать в порядке. Где ребенок? - "У меня; кричал, кричал, ну, я сжалился и взял его". - Видно, тебе аллах счастье послал, мешать не хочу... Дай туда знать, что они ребенка забыли - а ты его нашел - ну, и спрашивай выкупа. - У моего черкеса так и глаза разгорелись. Разумеется, мать, отец в тревоге - дали все, что хотел черкес.., Пресмешной случай.

- Очень.

Вот черта к характеристике будущего героя в Самогати.

Перед своим отправлением Лапинский заехал ко мне. РН взмог не один и, несколько озадаченный выражением моего лица, поспешил сказать:

- Позвольте вам представить моего адъютанта.

- Я уже имел удовольствие с ним встречаться. Это был Поллес.

- Вы его хорошо знаете? - спросил Огарев у Лапинского наедине. (359)

- Я его встретил в том же Boarding House, где теперь живу, он, кажется, славный

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
малый и расторопный.

- Да вы уверены ли в нем?

- Конечно. К тому же он отлично играет на виолончели и будет нас тешить во время плавания ..

Он, говорят, тешил полковника и кой-чем другим.

Мы впоследствии сказали Домантовичу, что для нас Поллес очень подозрительное лицо.

Домантович заметил:

- Да я им обоим не очень верю, но шалить они не будут.

И он вынул револьвер из кармана.

Приготовления шли тихо... Слух об экспедиции все больше и больше распространялся. Компания дала сначала пароход, оказавшийся негодным по осмотру хорошего моряка, графа Сапеги. Надобно было начать перегрузку. Когда все было готово и часть Лондона знала обо всем, случилось следующее. Сверцкевич и Домантович повестили всех участников экспедиции, чтоб они собирались к десяти часам на такой-то амбаркадер⁷⁹ железной дороги, чтоб ехать до Гулля в особом train, который давала им компания. И вот к десяти часам стали собираться будущие воины - в их числе были итальянцы и несколько французов; бедные отважные люди .. люди, которым надоела их доля в бездомном скитании, и люди, истинно любившие Польшу. И 10 и 11 часов проходят, но traina нет как нет. По домам, из которых таинственно вышли наши герои, мало-помалу стали распространяться слухи о дальнем пути .. и часов в 12 к будущим бойцам в сенях амбаркадера присоединилась стая женщин, неутешных Дидон, оставляемых свирепыми поклонниками, и свирепых хозяек домов, которым они не заплатили, вероятно, чтоб не делать огласки. Растрепанные и нечистые, они кричали, хотели жаловаться в полицию... у некоторых были дети... все они кричали, и все матери кричали. Англичане стояли кругом и с удивлением смотрели на картину "исхода". Напрасно старшие из ехавших спрашивали, скоро ли пойдет особый train, показывали свои билеты. Служители железной дороги не слышали ни о каком traine. Сцена становилась шумнее и шумнее.. Как вдруг прискакал гонец от шефов сказать ожидавшим, что (360) они все с ума сошли, что отъезд вечером в 10, а не утром... и что это до того понятно, что они и не написали Пошли с узелками и котомочками к своим оставленным Дидонам и смягченным хозяйкам бедные воины...

В десять вечером они уехали. Англичане им даже прокричали три раза "ура".

На другой день утром рано приехал ко мне знакомый морской офицер с одного из русских пароходов. Пароход получил вечером приказ утром выступить на всех парах и следить за "Ward Jackson".

Между тем "Ward Jackson" остановился в Копенгагене за водой, прождал несколько часов в Мальмё Бакунина, собиравшегося с ними для поднятия крестьян в Литве, и был захвачен по приказанию шведского правительства.

Подробности дела и второй попытки Лапинского рассказаны были им самим в журналах. Я прибавлю только то, что капитан уже в Копенгагене сказал, что он пароход к русскому берегу не поведет, не желая его и себя подвергнуть опасности; что еще до Мальмё доходило до того, что Домантович пригрозил своим револьвером не Лапинскому, а капитану. С Лапинским Домантович все-таки поссорился, и они заклятыми врагами поехали в Стокгольм, оставляя несчастную команду в Мальмё.

- Знаете ли вы, - сказал мне Сверцкевич или кто-то из близких ему, - что во всем этом деле остановки в Мальмё становится всего подозрительнее лицо Тугендгольда?

- Я его вовсе не знаю. Кто это?

- Ну, как не знаете, - вы его видали у нас, молодой малый, без бороды. Лапинский был раз у вас с ним.

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
- Вы говорите, стало, о Поллесе.

- Это его псевдоним - настоящее имя его Тугендгольд.

- Что вы говорите?.. - и я бросился к моему столу. Между отложенными письмами особенной важности я нашел одно, присланное мне месяца два перед тем. Письмо это было из Петербурга - оно предупреждало меня, что некий доктор Тугендгольд состоит в связи с III отделением, что он возвратился, но оставил своим агентом меньшого брата, что меньшой брат должен ехать в Лондон. (361)

Что Поллес и он было одно лицо - в этом сомнении не могло быть. У меня опустились руки,

- Знали вы перед отъездом экспедиции, что Поллес был Тугендгольд?

- Знал. Говорили, что он переменял свою фамилию, потому что в краю его брата знали за шпиона.

- Что же вы мне не сказали ни слова?

- Да так, не пришлось.

И Селифан Чичикова знал, что брочка сломана - а сказать не сказал.

Пришлось телеграфировать после захвата в Мальме. И тут ни Домантович, ни Бакунин⁸⁰ не умели ничего порядком сделать, - перессорились. Поллеса сажали в тюрьму за какие-то брильянты, собранные у шведских дам для поляков и употребленные на кутеж.

В то самое время как толпа вооруженных поляков, бездна дорого купленного оружия и "Ward Jackson" оставались почетными пленниками на берегу Швеции, собиралась другая экспедиция, снаряженная белыми; она должна была идти через Гибралтарский пролив. Ее вел граф Сбышевский, брат того, который писал замечательную брошюру "La Pologne et la cause de l'ordre"⁸¹. Отличный морской офицер, бывший в русской службе, он ее бросил, когда началось восстание, и теперь вел тайно снаряженный пароход в Черное море. Для переговоров он ездил в Турин, чтоб там секретно видеться с начальниками тогдашней оппозиции и, между прочим, с Мордини.

- На другой день после моего свиданья с Сбышевским, - рассказывал мне сам Мордини, -- вечером, в палате министр внутренних дел отвел меня в сторону и сказал: "Пожалуйста, будьте осторожнее... у вас вчера был польский эмиссар, который хочет провести пароход через Гибралтарский пролив - как бы дела не было, да зачем же они прежде болтают?"

Пароход, впрочем, и не дошел до берегов Италии: он был захвачен в Кадиксе испанским правительством. По (362) миновании надобности оба правительства дозволили полякам продать оружие и отпустили пароходы.

Огорченный и раздосадованный приехал Лапинский в Лондон.

- Остается одно, - говорил он, - составить общество убийц и перебить большую часть всех царей и их советников... или ехать опять на Восток, в Турцию...

Огорченный и раздосадованный приехал Сбышевский...

- Что же, и вы бить королей, как Лапинский?

- Нет, поеду в Америку... буду драться за республику... Кстати, - спросил он Тхоржевского, - где здесь можно завербоваться? Со мной несколько товарищей и все без куска насущного хлеба.

- Просто у консула...

- Да нет, мы хотели на юг: у них теперь недостаток в людях, и они предлагают больше выгодные условия.

- Не может быть, вы не пойдете на юг! ...По счастью, Тхоржевский отгадал. На юг они не пошли.

3 мая 1867

(ГЛАВА VI). PATER V. PETCHERINE⁸²

- Вчера я видел Печерина. Я вздрогнул при этом имени.
- Как, - спросил я, - того Печерина? Он здесь?
- Кто, reverend Petcherine?⁸³ Да, он здесь!
- Где же он?
- В иезуитском монастыре С. Мери Чепель в Клапаме.

Reverend Petcherine!.. И этот грех лежит на Николае. Я Печерина лично не знал, но слышал об нем очень много от Редкина, Крюкова, Грановского. Молодым доцентом возвратился он из-за границы на кафедру греческого языка в Московском университете; это было в одну из самых томных эпох николаевского гонения, между 1835 и (363) 1840. Мы были в ссылке, молодые профессора еще не приезжали, "телеграф" был запрещен, "Европеец" был запрещен, "Телескоп" запрещен, Чаадаев объявлен сумасшедшим.

Только после 1848 года террор в России пошел еще дальше.

Но угорелое самовластие последних лет николаевского царствования явным образом было пятым действием. Тут уже становилось заметно, что не только что-то ломит и губит, но что-то само ломится и гибнет: слышно было, как пол трещит, - но под расседающимся сводом.

В тридцатых годах, совсем напротив, опьянение власти шло обычным порядком, будничным шагом; кругом глушь, молчание, все было безответно, бесчеловечно, безнадежно и притом чрезвычайно плоско, глупо и мелко. Взор, искавший сочувствия, встречал лакейскую угрозу или испуг, от него отворачивались или оскорбляли его. Печерин задыхался в этом неаполитанском гроте рабства, им овладел ужас, тоска, надобно было бежать, бежать во что бы ни стало из этой проклятой страны. Для того чтоб уехать, надобны деньги. Печерин стал давать уроки, свел свою жизнь на одно крайне необходимое, мало выходил, миновал товарищеские сходки и, накопивши немного денег, - уехал.

Через некоторое время он написал гр. С. Строгонову письмо, он уведомлял его о том, что он не воротится больше. Благодаря его, прощаясь с ним, Печерин говорил о невыносимой духоте, от которой он бежал, и заклинал его беречь несчастных молодых профессоров, обреченных своим развитием на те же страдания, быть их щитом от ударов грубой силы.

Строгонов показывал это письмо многим из профессоров.

Москва на некоторое время замолкла об нем, и вдруг мы услышали, с каким-то бесконечно тяжелым чувством, что Печерин сделался иезуитом, что он на искусе в монастыре. Бедность, безучастие, одиночество сломили его; я перечитывал его "Торжество смерти" и спрашивал себя - неужели этот человек может быть католиком, иезуитом? Ведь он уже ушел из царства, в котором история делается под палкой квартального и под надзором жандарма. Зачем же ему так скоро зандобилась другая власть, другое указание? (364)

Разобщенным показался себе, сырым русский человек в сортированном и по горло занятом Западе, ему было слишком безродно. Когда веревка, на которой он был привязан, порвалась и судьба его, вдруг отрешенная от всякого внешнего направления, попала в его собственные руки, он не знал, что делать, не умел с ней управляться и, сорвавшись с орбиты, без цели и границ упал в иезуитский монастырь!

На другой день, часа в два, я отправился в St. Mary Chapel. Тяжелая дубовая дверь заперта, - я стукнул три раза кольцом; дверь отворилась, и явился тощий молодой человек лет восемнадцати, в монашеском подряснике; в руках у него был молитвенник.

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
- Кого вам? - спросил брат-привратник по-английски.

- Rйvйrend Father Petcherine84.

- Позвольте ваше имя.

- Вот карточка и письмо.

В письме я вложил объявление о Русской типографии.

- Взойдите, - сказал молодой человек, запирая снова за мною дверь. Подождите здесь. - И он указал в обширных сенях на два-три больших стула со старинной резьбой.

Минут через пять брат-привратник возвратился и сказал мне с небольшим акцентом по-французски, что *le pere Petcherine sera enchantй de me recevoir dans un instant*85.

После этого он повел меня через какой-то рефекторий86 в высокую небольшую комнату, слабо освещенную, и снова просил сесть. На стене было высеченное из камня распятие и, если не ошибаюсь, с другой стороны также богородица. Кругом тяжелого массивного стола стояли большие деревянные кресла и стулья. Противуположная дверь вела сенями в обширный сад, его светская зелень и шум листьев были как-то не на месте.

Брат-привратник показал мне на стене надпись; в ней было сказано, что *rйvйrend Fathers* принимают имеющих в них нужду от четырех до шести часов. Еще не было четырех. (365)

- Вы, кажется, не англичанин и не француз? - спросил я его, вслушиваясь в его акценты.

- Нет.

- *Sind sie ein Deutscher?*

- *O, nein, mein Herr,* - отвечал он, улыбаясь, - *ich bin beinah ihr Landsmann, ich bin ein Pfle*87.

Ну, брата-привратника выбрали недурно: он говорил на четырех языках. Я сел, он ушел; странно мне было видеть себя в этой обстановке. Черные фигуры прохаживались в саду, человека два в полумонашеском платье прошли мимо меня; они серьезно, но учтиво кланялись, глядя в землю, и я всякий раз привставал и также серьезно откланивался им. Наконец, вышел небольшой ростом, очень пожилой священник в граненой шапке и во всем одеянии, в котором священники ходят в монастырях. Он шел прямо ко мне, шурстя своей сутаной, и спросил меня чистейшим французским языком:

- Вы желали видеть Печерина? Я отвечал, что я.

- Чрезвычайно рад вашему посещению, - сказал он, протягивая руку, сделайте одолжение, присядьте.

- Извините, - сказал я, несколько смешавшись, что не узнал его; мне в голову не приходило, что встречу его костюмированного, - ваше платье...

Он слегка улыбнулся и тотчас продолжал:

- Давно не слышал я никакой вести о родном крае, об наших, об университете; вы, вероятно, знали Редкина и Крюкова.

Я смотрел на него. Лицо его было старо, старше лет; видно было, что под этими морщинами много прошло, и прошло *tout de bon*88, то есть умерло, оставив только свои надгробные следы в чертах. Искусственный клерикальный покой, которым, особенно монахи, как сулемой, заморяют целые стороны сердца и ума, был уже и в его речи и во всех движениях. Католический священник всегда сбивается на вдову: он так же в трауре и в одиночестве, он так же верен чему-то, чего нет, и утоляет настоящие страсти раздражением фантазии.

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

Когда я ему рассказал об общих знакомых и о кончине Крюкова, при которой я был, о том, как его сту(366)денты несли через весь город на кладбище, потом об успехах Грановского, об его публичных лекциях, – мы оба как-то призадумались. Что происходило в черепахе под граненой шапкой, не знаю, но Печерин снял ее, как будто она ему тяжела была на эту минуту, и поставил на стол. Разговор не шел.

– Sortons un peu au jardin, – сказал Печерин, – le temps est si beau, et cest si rare a Londres.

– Avec le plus grand plaisir⁸⁹. Да скажите, пожалуйста, для чего же мы с вами говорим по-французски?

– И то! Будемте говорить по-русски; я думаю, что уже совсем разучился.

Мы вышли в сад. Разговор снова перешел к университету и Москве.

– О, – сказал Печерин, – что это было за время, когда я оставил Россию, без содрогания не могу вспомнить;

– Подумайте же, что теперь делается; наш Саул совсем сошел с ума после 1848. – и я ему передал несколько гнуснейших фактов.

– Бедная страна, особенно для меньшинства, получившего несчастный дар образования. А ведь какой добрый народ; я часто вспоминаю наших мужиков, когда бываю в Ирландии, они чрезвычайно похожи; кельтский землепашец – такой же ребенок, как наш. Побывайте в Ирландии, вы сами убедитесь в этом.

Так длился разговор с полчаса, наконец, собираясь оставить его, я сказал ему:

– У меня есть просьба к вам.

– Что такое? Сделайте одолжение.

– У меня были в руках в Петербурге несколько ваших стихотворений – в числе их есть трилогия "Поликрат Самосский", "Торжество смерти" и еще что-то, нет ли у вас их, или не можете ли вы мне их дать?

– Как это вы вспомнили такой вздор? Это незрелые, ребяческие произведения иного времени и иного настроения.

– Может, – заметил я, улыбаясь, – поэтому-то они мне и нравятся. Да есть они у вас или нет?

– Нет, где же!.. (367)

– И продиктовать не можете?

– Нет, нет, совсем нет.

– А если я их найду где-нибудь в России, – печатать позволите?

– Я, право, на эти ничтожные произведения смотрю, точно будто другой писал; мне до них дела нет, как больному до бреда после выздоровления.

– Коли вам дела нет, стало, я могу печатать их, положим, без имени?

– Неужели эти стихи вам нравятся до сих пор?

– Это мое дело; вы мне скажите, позволяете мне их печатать или нет?

Прямого ответа он и тут не дал, я перестал приставать.

– А что же, – спросил Печерин, когда я прощался, – вы мне не привезли ничего из ваших публикаций? Я помню, в журналах говорили, года три тому назад, об одной книге, изданной вами, кажется, на немецком языке.

– Ваше платье, – (Отвечал я, – скажет вам, по каким соображениям я не должен был

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
привезти ее, примите это с моей стороны за знак уважения и деликатности.

– Мало вы знаете нашу терпимость и нашу любовь, мы можем скорбеть о заблуждении, молиться об исправлении, желать его и во всяком случае любить человека.

Мы расстались.

Он не забыл ни книги, ни моего ответа и дня через три написал ко мне следующее письмо по-французски:

J. M. J. A.90.

St. Mar ys, Clapham, 11 апреля 1853 г.

Я не могу скрыть от вас той симпатии, которую возбуждает в моем сердце слово свободы, – свободы для моей несчастной родины! Не сомневайтесь ни на минуту в искренности моего желания – возрождения России. При всем этом я далеко не во всем согласен с вашей программой. Но это ничего не значит. Любовь католического священника обнимает все мнения и все партии. Когда ваши драгоценнейшие упования обманут вас, когда силы мира сего поднимутся на вас, вам еще останется верное убе(368)жище в сердце католического священника: в нем вы найдете дружбу без притворства, сладкие слезы и мир, который свет не может вам дать. Приезжайте ко мне, любезный соотечественник. Я был бы очень рад вас видеть еще раз, до моего отъезда в Гернсей. Не забудьте, пожалуйста, привезти .вашу брошюру мне.

В. Печерин".

Я свез ему книги и через четыре дня получил следующее письмо:

"J. M. J. A.

St. Pierre, Islands of Guernsey. Chapelle Catholique, 15 апреля 1853 г.

Я прочел обе ваши книги с большим вниманием. Одна вещь особенно поразила меня; мне кажется, что вы и ваши друзья, вы опираетесь исключительно на философию и на изящную словесность (*belle litterature*). Неужели вы думаете, что они призваны обновить настоящее общество? Извините меня, но свидетельство истории совершенно против вас. Нет примера, чтобы общества основывались или пересоздавались бы философией и словесностью. Скажу просто (*tranchons le mot*91), одна религия служила всегда основой государств; философия и словесность, это – увя! – уже последний цветок общественного древа. Когда философия и литература достигают своей апогеи, когда философы, ораторы и поэты господствуют и разрешают все общественные вопросы, тогда конец, падение, тогда смерть общества. Это доказывает Греция и Рим, Это доказывает так называемая александрийская эпоха; никогда философия не была больше изощрена, никогда литература – цветущее, а между тем это была эпоха глубокого общественного падения. Когда философия бралась за пересоздание общественного порядка, она постоянно доходила до жестокого деспотизма, например, в Фридрихе II, Екатерине II, Иосифе II и во всех неудавшихся революциях. У вас вырвалась фраза, счастливая или несчастная, как хотите: вы говорите, что "фаланстер – не что иное, как преобразованная казарма, и коммунизм может быть только видоизменение николаевского самовластия". (369)

Я вообще вижу какой-то меланхолический отблеск на вас и на ваших московских друзьях. Вы даже сами сознаетесь, что вы все Онегины, то есть что вы и ваши – в отрицании, в сомнении, в отчаянии. Можно ли переродить общество на таких основаниях?

Может, я высказал вещь избитую и которую вы знаете лучше меня. Я это пишу не для спора, не для того, чтобы начать контроверзу, но я считал себя обязанным сделать это замечание, потому что иногда лучшие умы и благороднейшие сердца ошибаются в основе, сами не замечая того. Для того я это пишу вам, чтоб доказать, как внимательно читал я вашу книгу, и дать новый знак того уважения и любви, с которыми...

В. Печерин".

На это я отвечал ему по-русски.

Былое и думы (часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
"25. Euston Square. 21 апреля 1853 г. Почтеннейший соотечественник,

Душевно благодарю вас за ваше письмо и прошу позволение сказать несколько слов а
1a hhte92 о главных пунктах.

Я совершенно согласен с вами, что литература, как осенние цветы, является во всем блеске перед смертью государств. Древний Рим не мог быть спасен щегольскими фразами Цицерона, ни его жиденькой моралью, ни волтерианизмом Лукиана, ни немецкой философией Прокла. Но заметьте, что он равно не мог быть спасен ни элевзинскими таинствами, ни Аполлоном Тианским, ни всеми опытами продолжить и воскресить язычество.

Это было не только невозможно, но и не нужно. Древний мир вовсе не надобно было спасать, он дожил свой век, и новый мир шел ему на смену. Европа совершенно в том же положении; литература и философия не сохраняют дряхлых форм, а толкнут их в могилу, разобьют их, освободят от них.

Новый мир – точно так же приближается, как тогда. Не думайте, что я обмолвился, назвав фаланстер – казармой, нет, все доселе явившиеся учения и школы со(370)циалистов, от С.-Симона до Прудона, который представляет одно отрицание, – бедны, это первый лепет, это чтение по складам, это терапевты и ессениане древнего Востока. Но кто же не видит, не чувствует огромного содержания, просвечивающего через односторонние попытки, или кто же казнит детей за то, что у них трудно режутся зубы или выходят вкось?

Тоска современной жизни – тоска сумерек, тоска перехода, предчувствия. Звери беспокоятся перед землетрясением.

К тому же все остановилось. Одни хотят насильственно раскрыть дверь будущему, другие насильственно не выпускают прошедшего.; у одних впереди пророчества, у других – воспоминания. Их работа состоит в том, чтоб мешать друг другу, и вот те и другие стоят в болоте.

Рядом другой мир – Русь. В основе его – коммунистический народ, еще дремлющий, покрытый поверхностной пленкой образованных людей, дошедших до состояния Онегина, до отчаяния, до эмиграции, до вашей, до моей судьбы. Для нас это горько. Мы жертвы того, что не вовремя родились; для дела это безразлично, по крайней мере не имеет того смысла.

Говоря о революционном движении в новой России, я вперед сказал, что с Петра I русская история – история дворянства и правительства. В дворянстве находится революционный фермент; он не имел в России другого поприща яркого, кровавого, на площади, кроме поприща литературного, там я его и проследил.

Я имел смелость сказать (в письме к Мишле), что образованные русские самые свободные люди; мы несравненно дальше пошли в отрицании, чем, например, француз. В отрицании чего? Разумеется, старого мира.

Онегин рядом с праздным отчаянием доходит теперь до положительных надежд. Вы их, кажется, не заметили. Отвергая Европу в ее изжитой форме, отвергая Петербург, то есть опять-таки Европу, но переложенную на наши нравы, слабые и оторванные от народа, – мы гибли. Но мало-помалу развивалось нечто новое, уродливо у Гоголя, преувеличенно у панславистов. Этот новый элемент, элемент веры в силу народа, элемент, проникнутый любовью. Мы с ним только начали понимать народ. Но мы далеки от него. Я и не говорю, чтоб нам досталась участь пересоздать Россию, и то хорошо, что мы привет(371)ствовали русский народ и догадались, что он принадлежит к грядущему миру.

Еще одно слово. Я не смешиваю науки с литературно-философским развитием. Наука если и не пересоздает государства, то и не падает в самом деле с ним. Она средство, память рода человеческого, она победа над природой, освобождение. Невежество, одно невежество – причина пауперизма и рабства. Массы были оставлены своими воспитателями в животном состоянии. Наука, одна наука может теперь поправить это и дать им кусок хлеба и кров Не пропагандой, а химией, а механикой, технологией, железными дорогами она может поправить мозг, который веками сжимала физически и нравственно.

я буду сердечно рад..."

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

Через две недели я получил от о. Печерина следующее письмо: .

"J M J A.

St Marys Clapham, 3 мая 1853д.

Я вам отвечаю по-французски, по причинам, которые вы знаете. Не мог писать я к вам прежде, потому что был обременен занятиями в Гернсее. Мало остается времени на философские теории, когда живешь в самой середине животрепещущей действительности; нет досуга разрешать спекулятивные вопросы о будущих судьбах человечества, когда человечество с костями и плотью приходит изливать в вашу грудь свои скорби и требует совета и помощи.

Признаюсь вам откровенно, ваше последнее письмо навело на меня ужас, и ужас очень эгоистический, признаюсь и в этом.

Что будет с нами, когда ваше образование (votre civilisation a vous) одержит победу. Для вас наука – все, альфа и омега. Не та обширная наука, которая понимает все способности человека, видимое и невидимое, наука – так, как ее понимал мир до сих пор, но наука ограниченная, узкая, наука материальная, которая разбирает и рассекает вещество и ничего не знает, кроме его. Химия, механика, технология, пар, электричество, великая наука пить и есть, поклонение личности (le culte de la personne), как бы сказал Мишель Шевалье. Если эта (372) наука восторгается, горе нам! Во времена гонений римских императоров христиане имели по крайней мере возможность бегства в степи Египта; меч тиранов останавливался у этого непереходимого для них предела. А куда бежать от тиранства вашей материальной цивилизации? Она сглаживает горы, вырывает каналы, прокладывает железные дороги; посылает пароходы, журналы ее проникают до каленых пустынь Африки, до непроходимых лесов Америки. Как некогда христиан влекли на амфитеатры, чтоб их отдать на посмеяние толпы, жадной до зрелищ, так повлекут теперь нас, людей молчания и молитвы, на публичные торжища и там спросят: "Зачем вы бежите от нашего общества? Вы должны участвовать в нашей материальной жизни, в нашей торговле, в нашей удивительной индустрии. Идите витийствовать на площади, идите проповедовать политическую экономию, обсуживать падение и возвышение курса, идите работать на наши фабрики, направлять пар и электричество. Идите председательствовать на наших пирах, рай здесь на земле – будем есть и пить, ведь мы завтра умрем!" Вот что меня приводит в ужас, ибо где же найти убежище от тиранства материи, которая больше и больше овладевает всем

Простите, если я сколько-нибудь преувеличил темные краски. Мне кажется, что я только довел до законных последствий основания, положенные вами.

Стоило ли покидать Россию из-за умственного каприза (caprice de spiritualité)? Россия именно начала с науки, так как вы ее понимаете, она продолжает наукой. Она в руках своих держит гигантский рычаг материальной мощи, она призывает все таланты на служение себе и на пир своего материального благосостояния, она делается самая образованная страна в мире, провидение ей дало в удел материальный мир, она делает рай из него для своих избранных. Она понимает цивилизацию именно так, как вы ее понимаете. Материальная наука составляла всегда ее силу. Но мы, верующие в бессмертную душу и в будущий мир, какое нам дело в этой цивилизации настоящей минуты? Россия никогда не будет меня иметь своим подданным.

Я изложил мои идеи с простотою для того, чтоб уяснить нам друг друга. Извините, если я внес в слова мои излишнюю горячность. Так как я еду снова в Ирландию в (373) пятницу утром, мне будет невозможно зайти к вам. Но я буду очень рад, если вам будет удобно посетить меня в среду или в четверг после обеда.

Примите и проч.

В. Печерин",

я ему отвечал на другой день:

"25, Euston Square, 4 мая 1853 г.

Почтеннейший соотечественник.

Я был у вас для того, чтоб пожать руку русскому, которого имя мне было знакомо, которого положение так сходно с моим... Несмотря на то, что судьба и убеждения вас поставили в торжествующие ряды победителей, меня - в печальный стан побежденных, я не думал коснуться разницы наших мнений. Мне хотелось видеть русского, мне хотелось принести вам живую весть о родине. Из чувства глубокой деликатности я не предложил вам Моих брошюр, вы сами желали их видеть. Отсюда ваше письмо, мой ответ и второе письмо ваше от 3 мая. Вы нападаете на меня, на мои мнения (преувеличенные и не вполне разделяемые мною), нельзя же мне не защищаться. Я не давал того значения слову наука, которое вы предполагаете. Я вам только писал, что я совокупность всех побед над природой и всего развития, разумеется, ставлю вне беллетристики и отвлеченной философии.

Но это предмет длинный, и, без особого вызова, не хочется повторять все, так много раз сказанное об нем> Позвольте мне лучше успокоить вас насчет вашего страха о будущности людей, любящих созерцательную жизнь. Наука не есть учение или доктрина, и потому она не может сделаться ни правительством, ни указом, ни гонением. Вы, верно, хотели сказать о торжестве социальных идей, свободы. В таком случае возьмите страну самую "материальную" и самую свободную - Англию. Люди созерцательные, так, как утописты, находят в ней угол для тихой думы и трибуну для проповеди. А еще Англия, монархическая и протестантская, далека от полной терпимости.

И чего же бояться? Неужели шума колес, подвозящих хлеб насущный толпе голодной и полуодетой? Не запрещают же у нас, для того чтоб не беспокоить лирическую негу, молотить хлеб. (374)

Созерцательные натуры будут всегда, везде; им будет привольнее в думах и тиши, пусть ищут они себе тогда тихого места; кто их будет беспокоить, кто звать, кто преследовать? Их ни гнать, ни поддерживать никто не будет. Я полагаю, что несправедливо бояться улучшения жизни масс, потому что производство этого улучшения может обеспокоить слух лиц, не желающих слышать ничего внешнего Тут даже самоотвержения никто не просит, ни милости, ни жертвы. Если на торгу шумно, не торг перенести следует, а отойти от него. Но журналы всюду идут следом, - кто же из созерцательных натур зависит от premier-Pans или premier-Londres?93

Вот видите, если вместо свободы восторжествует антиматериальное начало и монархический принцип, тогда укажите нам место, где нас не то что не будут беспокоить, а где нас не будут вешать, жечь, сажать на кол - как это теперь отчасти делается в Риме и Милане, во Франции и России.

Кому же следует бояться? Оно, конечно, смерть не важна sub specie aeternitatis94, да ведь с этой точки зрения и все остальное не важно.

Простите мне, п. с., откровенное противуречие вашим словам и подумайте, что мне было невозможно иначе отвечать.

Душевно желаю, чтоб вы хорошо совершили ваше путешествие в Ирландию".

Этим и окончилась наша переписка.

Прошло два года. Серая мгла европейского горизонта зарделась заревом Крымской войны, мгла от него стала еще черней, и вдруг середь кровавых вестей, походов и осад читаю я в газетах, что там-то, в Ирландии, отдан под суд гйвйгэнд Father Wladimir Petcherine, native of Russia95 за публичное сожжение на площади протестантской библии*. Гордый британский судья, взяв в расчет безумный поступок и то, что виноватый - русский, а Анг(375)лия с Россией в войне, ограничился отеческим наставлением вести себя впредь на улицах благопристойно...

Неужели ему легки эти вериги... или он часто снимает граненую шапку и ставит ее устало на стол?

<ГЛАВА VII> И. ГОЛОВИН

Несколько дней после обыска у меня и захвата моих бумаг, во время июньской битвы, явился ко мне в первый раз И. Головин - до того известный мне по бездарным сочинениям своим и по чрезвычайно дурной репутации сварливого и дерзкого человека, которую он себе сделал. Он был у Ламорисиера, хлопотал, без

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
малейшей просьбы с моей стороны, о моих бумагах, ничего не сделал и пришел ко мне пожать скромные лавры благодарности и, пользуясь тем, втеснить мне свое знакомство.

Я сказал Ламорисиеру: "Генерал, стыдно надоедать русским республиканцам и оставлять в покое агентов русского правительства". - "А вы знаете их?" спросил меня Ламорисиер. "кто их не знает!" - "Nommez les, nommez les"⁹⁶. "Ну, да Яков Толстой и генерал Жомини". - "Завтра же велю у них сделать обыск". - "да будто Жомини русский агент?" - спросил я. "Ха, ха, ха! Это мы увидим теперь".

Вот вам человек.

Рубикон был перейден, и, что я ни делал, чтобы воздержат дружбу Головина, а главное, его посещения, - все было тщетно. Он раза два в неделю приходил к нам, и нравственный уровень нашего уголка тотчас понижался - начинались ссоры, сплетни, личности. Лет пять спустя, когда Головин хотел меня додразнить до драки, он говорил, что я его боюсь; говоря это, он, конечно, не подозревал, как давно я его боялся до лондонской ссоры.

Еще в России я слышал об его бестактности, о нецеремонности в денежных отношениях. Шевырев, возвратившись из Парижа, рассказывал о процессе Головина с лакеем, с которым он подрался, и ставил это на счет нас, западников, к числу которых причислял Головина. Я же (376) выреву заметил, что Запад следует винить только в том, что они дрались, потому что на Востоке Головин просто бы поколотил слугу и никто не говорил бы об этом.

Забытое теперь содержание его сочинений о России еще менее располагало к знакомству с ним. Французская риторика, либерализм Роттековой школы, *rele-mele*⁹⁷ разбросанные анекдоты, сентенции, постоянные личности и никакой логики, никакого взгляда, никакой связи. Погодин писал рубленой прозой - а Головин думал рублеными мыслями.

Я миновал его знакомство донельзя. Ссора его с Бакуниным помогла мне. Головин поместил в каком-то журнале дворянски-либеральную статейку, в которой помянул его. Бакунин объявил, что ни с русским дворянством, ни с Головиным ничего общего не имеет.

Мы видели, что далее Июньских дней я не пролабировал в моем почетном незнакомстве.

Каждый день доказывал мне, как я был прав. В Головине соединилось все ненавистное нам в русском офицере, в русском помещике, с бездной мелких западных недостатков, и это без всякого примирения, смягчения, без выкупа, без какой-нибудь эксцентричности, каких-нибудь талантов или комизмов. Его наружность *vulgar*, провокантная и оскорбительная, принадлежит, как чекан, целому слою людей, кочующих с картами и без карт по минеральным водам и большим столицам, вечно хорошо обедающих, которых все знают, о которых всё знают. кроме двух вещей: чем они живут и зачем они живут. Головин - русский офицер, французский *bretteur*, *hvbleur*⁹⁸, английский свиндлер⁹⁹, немецкий юнкер и наш отечественный Ноздрев, Хлестаков *in partibus infigelium*¹⁰⁰.

Зачем он покинул Россию, что он делал на Западе, - он, так хорошо шедший в офицерское общество своих братии, им же самим описанных? Сорвавшись с родных полей, он не нашел центра тяжести. Кончив курс в Дерптском университете, Головин был записан в канцелярию Нессельроде. Нессельроде ему заметил, что у него почерк плох, Головин обиделся и уехал в Париж. Когда его (377) потребовали оттуда, он отвечал, что не может еще возвратиться, потому что не кончил своего "каллиграфического образования". Потом он издал свою компиляцию "La Russie sous Nicolas"¹⁰¹, в которой обидел пуще всего Николая тем, что сказал, что он нет пишет се. Ему велели ехать в Россию - он не поехал. Братья¹⁰² его воспользовались этим, чтобы посадить его на Антониеву пищу - они посылали ему гораздо меньше денег, чем следовало. Вот и вся драма.

У этого человека не было ни тени художественного такта, ни тени эстетической потребности, никакого научного запроса, никакого серьезного занятия. Его поэзия была обращена на него самого, он любил позировать, хранить *arragence*¹⁰³; привычки дурно воспитанного барича средней руки остались в нем на всю жизнь, спокойно сжились с кочевым фуражированием полуизгнанника и полубогемы.

Раз в Турине я застал его в воротах *Hotel Feder* с хлыстиком в руке... Перед ним стоял савояр¹⁰⁴, полунагой и босой мальчик лет двенадцати, Головин бросал ему гроши и за всякий грош стегал его по ногам; савояр подпрыгивал, показывая, что очень больно, и просил еще. Головин хохотал и бросал грош. Я не думаю, чтоб он больно стегал, но все же стегал – и это могло его забавлять? После Парижа мы встретились сначала в Женеве, потом в Ницце. Он был тоже выслан из Франции и находился в очень незавидном положении¹⁰⁵, Ему решительно (378) нечем было жить, несмотря на тогдашнюю баснословную дешевизну в Ницце... Как часто и горячо я желал, чтоб Головин получил наследство или женился бы на богатой... Это бы мне развязало руки.

Из Ниццы он уехал в Бельгию, оттуда его прогнали; он отправился в Лондон и там натур ализировался, смело прибавив к своей фамилии титул князя Ховры, на который не имел права. Английским подданным он возвратился в Турин и стал издавать какой-то журнал. В нем он додразнил министров до того, что они выслали его. Головин стал под покровительство английского посольства. Посол отказал ему – и он снова поплыл в Лондон. Здесь в роли рыцаря индустрии, числящегося по революции, он без успеха старался примкнуть к разным политическим кругам, знакомился со всеми на свете и печатал невообразимый вздор.

В конце ноября 1853 Ворцель зашел ко мне с приглашением сказать что-нибудь на польской годовщине. Взошел Головин, смекнув, в чем дело, тотчас атаковал Ворцеля вопросом – "может ли и он сказать речь?"

Ворцелю было неприятно, мне вдвое, но тем не меньше он ему ответил:

– Мы приглашаем всех и будем очень рады; но чтоб митинг имел единство, надобно нам знать а *rei grisi*¹⁰⁶, кто что хочет сказать. Мы собираемся тогда-то, приходите к нам потолковать.

Головин, разумеется, принял предложение. А Ворцель, уходя, сказал мне, качая головой, в передней:

– Что за нелегкое принесло его!

С тяжелым сердцем пошел я на приуготовительное собрание; я предчувствовал, что дело не обойдется без скандала. Мы не были там пяти минут, как мое предчувствие оправдалось. После двух-трех отрывистых генеральских слов Головин вдруг обратился к Ледрю-Роллену; сначала напомнил, что они где-то встречались, чего Лед-рю-Роллен все-таки не вспомнил, потом ни к селу ни к городу стал ему доказывать, что постоянно раздражать (379) Наполеона – ошибка, что политичнее было бы его щадить для польского дела... Ледрю-Роллен изменился в лице, но Головин продолжал, что Наполеон один может выручить Польшу, и прочее. "Это, добавил он, – не только мое личное мнение; теперь Маццини и Кошут это поняли и всеми силами стараются сблизиться с Наполеоном".

– Как же вы можете верить таким нелепостям? – спросил его Ледрю-Роллен вне себя от волнения.

– Я слышал...

– От кого? От каких-нибудь шпионов, честный человек не мог вам этого говорить. Господа, я Кошута лично не знаю, но все же уверен, что это не так; что же касается до моего друга Маццини, я смело беру на себя ответить за него, что он никогда не думал о такой уступке, которая была бы страшным бедствием и вместе с тем изменою всей религии его.

– Да... да... само собой разумеется, – говорили с разных сторон, ясно было, что слова Головина рассердили всех. Ледрю-Роллен вдруг повернулся к Ворцелю и сказал ему:

– Вот видите, мои опасения были не напрасны; состав вашего митинга слишком разнообразен, чтоб в нем не заявили мнения, которые я не могу ни принять, ни да же слушать. Позвольте мне удалиться и отказаться от чести говорить двадцать девятого числа речь.

Он встал. Но Ворцель, останавливая его, заметил, что комитет, предпринявший дело

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru митинга, избрал его своим председателем и что в этом качестве он должен просить Ледрю-Роллена остаться, пока он спросит своих товарищей, хотят ли они после сказанного допустить речь Головина и потерять содействие Ледрю-Роллена, или наоборот.

Затем Ворцель обратился к членам Централизации. Результат был несомненен. Головин его очень хорошо предвидел и потому, не дожидаясь ответа, встал и высокомерно бросил Ледрю-Роллену: /

- Я уступаю вам честь и место и сам отказываюсь от своего намерения сказать речь двадцать девятого ноября.

После чего он, доблестно и тяжело ступая, вышел вон. Чтоб разом кончить дело, Ворцель предложил мне прочесть или сказать, в чем будет состоять моя речь. (380)

На другой день был митинг - один из последних блестящих польских митингов, он удался, народу было бездна, я пришел часов в восемь, - все уже было занято, и я с трудом пробирался на эстраду, приготовленную для бюро.

- Я вас везде ищу, - сказал мне d-r Дараш. - Вас ждет в боковой комнате Ледрю-Роллен и непременно хочет с вами поговорить до митинга.

- Что случилось?

- Да все этот шалопай Головин. Я пошел к Ледрю-Роллену. Он был рассержен и был прав.

- Посмотрите, - сказал он мне, - что этот негодяй прислал мне за записку четверть часа до того, как мне ехать сюда.

- Я за него не отвечаю, - сказал я, развертывая записку.

- Без сомнения, но я хочу, чтоб вы знали, кто он такой.

Записка была груба, глупа. Он и тут фанфаронством хотел покрыть fiasco107. Он писал Ледрю-Роллену, что если у него нет французской учтивости, то пусть он покажет, что не лишен французской храбрости.

- Я его всегда знал за беспокойного и дерзкого человека, но этого я не ожидал, - сказал я, отдавая записку. - Что же вы намерены делать?

- Дать ему такой урок, которого он долго не забудет. Я здесь всенародно на митинге сорву маску с этого aventurier108, я расскажу о нашем разговоре, сошлюсь на вас, как на свидетеля, и притом русского, и прочту его записку - а потом увидим... я не привык глотать такие конфеты.

"Дело скверное, - подумал я, - Головин со своей весьма подозрительной репутацией окончательно погибнет. Ему один путь спасенья будет - дуэль. Этой дуэли нельзя допустить, потому что Ледрю-Роллен совершенно прав и ничего обидного не сделал. В его положении нельзя же было драться со всяким встречным. И что за безобразие - на польском митинге одного русского эмигранта затопчут в грязь, а другой поможет". (381)

- Да нельзя ли отложить?

- Чтоб потерять такой случай?

Я еще постарался остановить дело, ввернувши предложение суда, jury dhonneur109 - все удавалось плохо.

...Затем мы вышли на эстраду и были встречены френетическим110 рукоплесканием. Рукоплескания и шум толпы, как известно, пьянят, - я забыл о Головине и думал о своей речи. Об речи я говорил в другом месте. Самое появление мое на трибуне было встречено с величайшим сочувствием поляками, французами и итальянцами. Когда я кончил, Ворцель, председатель митинга, подошел ко мне и, обнимая меня, повторял, глубоко тронутый: "Благодарю, благодарю!" Рукоплескания, шум удесятерились, и я под их громом отправился на свое место... Тут мне пришел в голову Головин, и я испугался близости той минуты, когда трибун 1848 сомнет в

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru своих руках этого шута. Я вынул карандаш и написал на клочке бумаги:

"Бога ради устройте, чтоб гнусное дело Головина не испортило вашего митинга". Эстрада была амфитеатром, я записочку отдал сидевшему передо мной Пианчани, чтоб он ее передал Ворцелю. Ворцель прочитал, черкнул что-то карандашом и отдал в другую сторону, то есть отправил к Ледрю-Роллену, который сидел выше. Ледрю-Роллен достал меня рукой за плечо и, весело кивая, сказал:

- За вашу речь и для вас я оставляю дело до завтра, - и я, довольный, как нельзя больше, отправился ужинать с Руге и Копингамом в American Store.

Не успел я на другой день встать, как комната моя наполнилась поляками, они пришли меня благодарить, но, вероятно, благодарность они принесли бы и попозже. Главное, что им не терпелось покончить спор - головинское дело. Бешенство на него распахнулось во всей силе. Они составили акт, в котором Головин был обруган, адрес Ледрю-Роллену, которому объявили, что решительно не допустят его до дуэли. Десять человек готовы были драться с ним. Требовали, чтоб я подписал и акт, и адрес.

Я видел, что из одной истории выйдут пять, и, пользуясь вчерашним успехом, то есть авторитетом, который он мне дал, сказал им: (382)

- В чем цель? - кончить ли это дело так, чтоб Ледрю-Роллен был удовлетворен и несчастный инцидент, чуть не испортивший ваш митинг, был стерт? Или наказать Головина во что бы ни стало? В последнем случае, господа, я не участвую, и делайте, как знаете.

- Конечно, главная цель - кончить дело.

- Хорошо. Имеете вы ко мне доверие?..

- Да, да... еще бы...

- Я поеду один к Головину... и если улажу дело так, что Ледрю-Роллен будет доволен - то и конец.

- Хорошо - а если не уладите?

- Тогда я подпишу ваш протест и адрес.

- Ладно.

Головина я застал мрачным и сконфуженным, он явно ждал грозы и вряд был ли доволен, что вызвал ее.

Объяснение - наше было недолго Я сказал ему, что спас его от двух неприятностей, и предложил мои услуги отстранить третью, а именно, примирить его с Ледрю-Ролленом. Ему хотелось окончить дело, но надменная натура его не допускала до сознания своей вины, а еще больше - до признания ее.

- Я соглашаюсь только для вас, - пробормотал он, наконец.

Для меня или для кого другого, - дело пошло на лад. Я поехал к Ледрю-Роллену, прождал его часа два в холодной комнате и простудился; наконец, он приехал очень любезен и весел. Я рассказал ему всю историю от появления повсехного¹¹¹ вооружения Посполитой Речи до ломаний нашего матамора¹¹², и Ледрю-Роллен со смехом согласился предать дело забвению и принять раскаявшегося грешника. Я отправился за ним.

Головин ждал в сильном волнении. Узнав, что все обстоит благополучно, он покраснел и, набивши все карманы пальто какими-то бумагами, поехал со мной.

Ледрю-Роллен принял настоящим gentlemanом и тотчас стал говорить о посторонних делах.

- Я приехал к вам, - сказал Головин, - сказать, что мне очень жаль...

Ледрю-Роллен его перебил словами: (383)

- Neen parlons plus...113 Вот ваша записка, бросьте ее в огонь... - и без запятой стал продолжать начатый рассказ. Когда мы встали, чтоб ехать, Головин выгрузил из кармана кипу брошюр и, подавая их Ледрю-Роллену, прибавил, что это его последние брошюры и что он просит его принять их в знак его особенного уважения. Ледрю-Роллен, рассыпаясь в благодарности, с почтением уложил кипу, до которой, вероятно, никогда не дотрогивался.

- Вот наш литературный век, - сказал я Головину, садясь в карету. - Слыхал я, что умные люди берут с собой на дуэли штопор, но чтоб вооружались брошюрами - это ново!

Зачем я спас этого человека от позора? Право, не знаю - и просто раскаиваюсь. Все эти пощады, великодушия, закрашивания, спасения падают на нашу голову по тому великому правилу, постановленному Белинским: что "мошенники тем сильны, что они с честными людьми поступают как с мошенниками, а честные люди с мошенниками - как с честными людьми". Бандиты журнального и политического мира опасны и неприятны по- своему двусмысленному и затруднительному положению. Терять им нечего, выиграть они могут все. Спасая таких людей, вы их только снова приводите в прежний impasse114.

В рассказе моем нет слова преувеличенного. Подумайте же, каково было мое удивление, когда Головин напечатал в Германии через десять лет, что Ледрю-Роллен извинялся перед ним... зная, что и он и я, слава богу, живы и здоровы... Разве это не гениально!

Митинг был 29 ноября 1853 года, в марте 1854 я напечатал небольшое воззвание к русским солдатам в Польше от имени "Русской вольной общины в Лондоне". Головина это оскорбило, и он принес мне для напечатания следующий протест:

"Я прочел вашу "благовесть", писанную в день благовещения.

Она надписана: "Вольная русская община в Лондоне", а между тем встречаются слова: "Не помню, в какой губернии". (384)

Следовательно, для меня загадка, состоит ли эта община из вас и Энгельсона, или из вас одного?

Здесь не место разбирать содержание, мне не бывшее показанное в рукописи. Чтобы упомянуть только о тоне, я бы не подписал обещание не оставить без совета людей, которые меня не просят об этом. Ни скромность, ни совесть не позволяют мне сказать, что я примирил имя народа русского с народами Запада.

Посему почитаю должным просить вас объявить при следующем и наискорейшем случае, что я до сих пор не участвовал ни в каких воззваниях, печатанных вашей типографией по-русски.

Надеясь, что вы не заставите меня прибегнуть к другому рода гласности.

Я пребываю вам покорный

Иван Головин.

Лондон, 25 марта 1854 г.

(Г. Герцену-Искандеру.)

P. S. Поставляю на ваше усмотрение напечатать мое письмо в настоящем его виде или объявить содержание онога вкратце".

Протесту я несказанно обрадовался - в нем я видел начало разрыва с этим невыносимо тяжелым человеком и публичное заявление нашего разногласия. Европа и сами поляки так поверхностно смотрят на Россию, особенно в промежутки, когда она не бьет соседей или не присоединяет целые государства в Азии, что я должен был работать десять лет, чтоб меня не смешивали с пресловутым Ivan Golovine.

Вслед за протестом Головин прислал письмо, длинное, бессвязное, которое заключил словами: "Может быть, отдельно мы еще будем полезнее общему делу, если не станем

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
тратить наши силы на борьбу друг с другом". На это я отвечал ему:

"30 марта, четверг.

Я считаю себя обязанным поблагодарить вас за письмо ваше, полученное вчера и которого добрую цель – смягчить печатное объявление – я вполне оценил. (385)

Я совершенно согласен, что отдельно мы принесем больше пользы. Насчет борьбы, о которой вы пишете, – она не входила в мою голову. Я не возьму никакой инициативы – не имея ничего против вас, особенно когда каждый пойдет своей дорогой.

Вспомните, как давно и сколько раз я говорил вам келейно то, что вы сказали теперь публично. Наши нравы, мнения, симпатии и антипатии – всё розно. Позвольте мне остаться с уважением к вам, но принять нашу раздельность за fait accompli115 – и вы, и я, мы будем от этого свободнее.

Письмо мое – ответ; вопросов в нем нет, я вас прошу не длить этой переписки и полагаюсь на вашу деликатность, что окончательное расставание наше не будет сопровождено ни жестким словом, ни враждебным действием.

Желаю вам всего лучшего".

Что Головину вовсе не хотелось разорвать сношения со мной – это было очевидно; ему хотелось сорвать сердце за то, что мы печатали воззвание без него, и потом примириться – но я уж не хотел упустить из рук этого горячо желанного случая.

Недели две–три после моего письма я получил от него пакет. Раскрываю бумага с траурным ободком... Смотрю – это половина погребального приглашения, разосланного 2 мая 1852 года. В ответ на его письмо из Турина я ему его послал – и приписал: "Письмо ваше тронуло меня, я никогда не сомневался в добром сердце вашем..." На этом–то листе он написал, что просит у меня свиданья, и давал новый адрес и прибавлял: "II ne sagit pas d'argent"116.

Я отвечал, что идти к нему не могу, потому что не я имею к нему дело, а он ко мне, потому что он начал разрыв, а не я, наконец потому, что он довел о том до посторонних. Но что я готов его принять у себя, когда ему угодно.

Он явился на другое утро – смирный и шелковый. Я уверял его еще и еще, что никакого враждебного шага с моей стороны сделано не будет – но что наши мнения, (386) нравы до такой степени не сходны – что видаться нам незачем.

– Да как же вы это только теперь заметили?.. Я промолчал.

Мы расстались холодно – но учтиво. Казалось бы, чего же еще? Нет, на другой же день Головин наградил меня следующим письмом117:

(Ad usum proprium118).

После сегодняшнего разговора не могу я вам отказать в сатисфакции иметь общинку, имейте! Полемики же вести я никакой не намерен, следовательно, избегайте все, что может дать повод к ней.

Когда ваши новые друзья перед вами согрешат, вы найдете во мне вам всегда преданного.

Мой совет написать в "M. Adv.", что вы процесса не заводите с ними потому только, что презираете невежество, которое не знает отличить патриота и друга свободы от агента, хвалит Бруннова и клеветает на Бакунина.

Я к вам ходить не буду, покуда буду занят делами более важными, нежели снисковать симпатии.

Когда же меня захотите посетить, всегда обрадуете тем более, что, имея кое-что общее, имеется также кое-что и переговорить.

И. Г.

26 апреля 54 г.

К лету я уехал в Ричмонд и некоторое время ничего не слышал о Головине. Вдруг от него письмо. Он – не называя никого – говорил, что до него дошло, что я "смеялся над ним" у себя дома... и требовал (как у любовницы), чтоб я возвратил ему портрет его, подаренный в Ницце. Как я ни хлопотал, как ни рылся в бумагах, портрета найти не мог. (387)

Досадно было... но пришлось передать ему, что портрет пропал. Я просил нашего общего знакомого, Савича, сказать ему, "как я искал, и повторить, что я ни малейшего зла ему не желаю и прошу его оставить меня в покое.

В ответ на это – следующее письмо:

"Почтенный Александр Иванович,

Вы говорили Савичу, что если я вам напишу письмо, то вы мне возвратите 10 Liv. Мое распоряжение было дать вам 20 Liv. из последних денег, да и вы сами писали, что вы из 100 возьмете только 20. Я надеялся вывернуться скоро, вышло иначе. Но через неделю, много две, я бы мог вам возвратить эти 10 Liv. Вы говорите, что вы мне не враг, и я прошу об этом не как об одолжении от приятеля, а как об справедливости. Если вам это кажется иначе, то откажите, не барабанив об этом вашим поклонникам.

И. Г. Август 16".

На это письмо я ничего не отвечал. Не нужно и говорить, что я Савичу никаких денежных поручений не давал. Он нарочно спутал два дела, чтоб придать вид какой-то сделки простой просьбе. О самом Савиче – одном из забавнейших полевых цветков нашей родины, занесенных на чужбину, мы поговорим еще когда-нибудь.

Вслед за тем второе письмо. Он догадался, что отсутствие ответа – отказ, и, разумеется, вымерил всю неосторожность своего поступка. Испугавшись, он решился взять дело приступом – он мне писал, что я "немец или жид", отослал назад мое письмо С., написав на нем: "Вы трусите".

Затем два письма с поддельной надписью и с бранью внутри вроде D. Жалею, что часть их утратилась, – впрочем, тон один во всех.

Он ждал, что вслед за его письмом, в котором он говорит о трусости, я пришлю секундантов – мои понятия о чести были действительно странны и не совпадали с его понятиями. Что за шалость убить кандидата в Бисетр в смиренный дом, или быть им уби(388)тым, искалеченным и наверное попасть под суд, бросить свои занятия, и все это для того, чтоб доказать, что я его не боюсь... Как будто одни бешеные собаки имеют привилегию вселять ужас, не лишая чести боящегося?

Опять пауза. – Головин не показывается в наших паражах¹¹⁹, кутит на чей-то другой счет, говорит дерзости кому-то другому, у кого-то другого берет деньги займы. Между тем последние светлые точки репутации тускнут, старые знакомые отрекаются от него, новые бегут. Луи Блан извиняется перед друзьями, встретившими его с Головиным на Rйgent street, дом Мильнер-Гибсона окончательно запирают для него, английские "симплетоны"¹²⁰, глупейшие из всего мира, догадываются, что он не князь и не политический человек, и вообще не человек, и только вдали одни немцы, знающие людей по книгопродавческим каталогам, считают его чем-то, "берюмтом"¹²¹.

В феврале 1855 готовился известный народный сход С.-Мартинс-Галля, торжественный, но неудавшийся опыт – соединения социалистов всех эмиграции с чартистами. Подробности и схода и марксовских интриг против моего избрания я рассказал в другом месте. Здесь о Головине.

Я не хотел произносить речи и пошел в заседание комитета, чтоб поблагодарить за честь и отказаться. Дело было вечером – и когда я выходил, я встретил одного чартиста на лестнице, который меня спросил, читал ли я письмо Головина в "Morning Advertiser"? Я не читал. Внизу был кафе и public-house; "Morning Advertiser" есть во всех кабаках – мы взошли, и Финлейн показал мне письмо Головина, в котором он писал, что до его сведения дошло, что международный комитет меня избрал членом, и просил как русского произнести речь на митинге, а потому он, побуждаемый одной любовью к истине, предупреждает, что я не русский,

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
а немецкий жид, родившийся в России, - "раса, находящаяся под особым покровительством Николая".

Прочитав эту шалость, я возвратился в комитет и сказал председателю (Э. Джонсу), что беру назад мой (389) отказ. Вместе с тем я показал ему и членам "Morning Adv." и прибавил, что Головин очень хорошо знает мое происхождение и "лжет из любви к истине". "Да и к тому же еврейское происхождение вряд могло ли бы служить препятствием, - прибавил я, - взяв во внимание, что первые изгнанники после сотворения мира были евреи - именно Адам и Ева".

Комитет расхохотался, и - с председателя начиная - приняли мое новое решение с рукоплесканием.

- Что касается до вашего выбора меня в члены - я обязан вас благодарить но защищать ваш выбор ваше дело.

- Да! Да! - закричали со всех сторон. Джонс на другой день напечатал несколько строк в своем "The People" и послал письмо в "Daily News".

(Перевод)

АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН, РУССКИЙ ИЗГНАННИК

Какой-то горе-демократ написал клеветническую заметку в "Morning Advertiser" о г. Герцене, очевидно с намерением, если возможно, повредить митингу, устраиваемому в St. Martins Halle. Это мальчишеская выходка. Митинг устраивается различными нациями во имя принципов, и ни в какой мере не зависит от личности какого-нибудь отдельного участника. Но чтобы быть справедливым к г. Герцену, мы обязаны сказать, что смехотворное заявление, будто он не русский и не изгнанник из своей страны, является чистой ложью; а утверждение, будто он принадлежит к той же самой расе, что Иосиф Флавий и Иисус Навин, совершенно ни на чем не основано, хотя, разумеется, нет ничего дурного и постыдного принадлежать к этому некогда могущественному и до сих пор сильному народу, как ко всякому другому. В течение 5 лет Герцен находился в ссылке на Урале, а освободившись оттуда, он был изгнан из России - своей родины. Герцен стоит во главе русской демократической литературы, он является самым выдающимся из эмигрантов его страны, а как таковой - и представителем ее пролетарских миллионов. Он будет участвовать в митинге, демонстрации в St. Martins Halle, и мы уверены, что прием, который ему будет оказан, покажет всему миру, что англичане могут симпатизировать русскому народу и в то же время намерены бороться с русским тираном.

Г-н ГЕРЦЕН Издателю "The Daily News"

М. г.! В одном из номеров вашего издания помещено письмо, отрицающее за известным русским изгнанником г. Герценом не только право на представительство русской демократии в Международном комитете, но даже право на принадлежность к русской национальности.

Г-н Герцен уже отвечал на второе обвинение. Позвольте нам от имени Международного комитета присоединить к ответу г. Герцена несколько фактов касательно первого обвинения, - фактов, сослаться на которые г. Герцену, по всей вероятности, не позволила его скромность.

Осужденный, имея от роду двадцать лет, за заговор против царского деспотизма, г. Герцен был сослан на границу Сибири, где и проживал в качестве ссыльного в течение семи лет. Амнистированный в первый раз, он очень скоро сумел заслужить и вторую ссылку.

В то же самое время его политические памфлеты, философские статьи и беллетристические произведения доставили ему одно из самых выдающихся мест в русской литературе. Чтоб показать, какое место принадлежит г. Герцену в политической и литературной жизни его родины, мы не можем сделать ничего лучшего, как сослаться на статью, напечатанную в "Athe-naeum", журнале, который никто не заподозрит в пристрастии.

Прибывши в Европу в 1847 году, г. Герцен занял видное место в ряду тех выдающихся людей, имена которых тесно связаны с революционным движением 1848 года. С этого же времени он основал в Лондоне первое свободное русское издание,

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru целью которого стала смертельная, самая полезная война против царя Николая и русского деспотизма. (391)

Ввиду всех этих фактов, задавшись целью направить по единому руслу деятельность всей демократии в целом, мы не надеялись, да и не желали бы найти более благородного и более истинного представителя революционной партии в России, чем г. Герцен.

С почтением по уполномочию Международного комитета

Председатель

Секретариат: Роберт Чапмен Конрад Домбровский Альфред Таландье.

Головин умолк и уехал в Америку.

"Наконец, - думал я, - мы освободились от него. Он пропадет в этом океане всяких свиндлеров и искателей богатств и приключений, сделается там пионером или диггером¹²², шулером или слевгольдером¹²³; разбогатеет ли он там, или будет повешен по Lynch law¹²⁴ - все равно, лишь бы не возвратился". Ничуть не бывало - всплыл мой Головин через год в том же Лондоне и встретил на улице Огарева, который ему не кланялся; подошел и спросил его: "А что, это вам не велели, что ли, кланяться?" - и ушел. Огарев нагнал его и, сказав: "Нет, я по собственному желанию не кланяюсь с вами", - пошел своей дорогой. Само собою разумеется, это тотчас вызвало следующую ноту:

"Приступая к изданию Кнута, я не ищю быть в ладу с моими врагами, но я не хочу, чтобы они думали обо мне всякий вздор.

В двух словах я вам скажу, что было у меня с Герценом. Я был у него на квартире и просил не ссориться. "Не могу, - говорит, - не симпатизирую с вами, давайте полемику вести". Я ее не вел, но когда он отослал мне письмо нераспечатанное, тогда я его назвал немцем. Это - Брискорн, называвший Долгорукого немцем на смех солдатам. Но Герцену угодно было от(392)вечать и рассказать свою историю, а потом разгневаться не на себя, а на меня. Но и в истории в этой ничего не было обидного. Допустим, что мое поведение с ним было дурно, а ваше со мною хорошо, хотя вы и не близнецы, все еще не за что становиться на дыбы, не лезя в драку.

Головин. Яне. 12J57".

Мы решились безусловно молчать. Нет досаднее наказания крикунам и hvb!euram¹²⁵, как молчание, как немое, холодное пренебрежение. Головин еще два сделал опыт написать к Огареву колкие и остроумные записки, вроде приложенной второй миссивы¹²⁶, уже совершенно лишённой смысла и смахивающей на действительное сумасшествие.

"Берлин, 20 августа.

Я видел

бога цензуры русской

и не смолчал ему.

С Будбергом мы грызлись два часа; он рыдал, как теленок.

Vous voulez la guerre, vous l'aurez¹²⁷.

Мы были врагами с Герценом два-три года. Что из этого произошло? Пользы никому! Хочет он стреляться! У меня Стрела готова! Но для пользы общей гораздо лучше подать руку!

Victoria nftel.

Вы издаете ваши полные сочинения. Пахнет ли в них мертвыми, как в Дании?" Ни слова ответа.

А впрочем, с ума сойти было от чего. Мало-помалу все материальные и моральные

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru средства иссякли, литературные аферы, поддерживавшие его, кредиту нигде; он предпринимал всякого рода полусветлые (393) и полутемные дела, - все падало на его голову или валилось из рук. На средства он не был разборчив.

Одним добрым утром, вероятно не зная, где бы на чужой счет хорошенько пообедать, - а хорошо обедать он очень любил, - Головин написал Палмерстону письмо и предложил себя... это было в конце Крымской войны, - тайным агентом английскому правительству, обещая быть очень полезным по прежним связям своим в Петербурге и по отличному знанию России. Палмерстону стало гадко, и он велел отвечать секретарю, что вискоунт благодарит г. Головина за предложение, но в настоящую минуту его услугами не нуждается. Это письмо в пакете с печатью Палмерстона Головин долго носил в кармане и сам показывал его

После смерти Николая он поместил в каком-то журнале ругательную статью против новой императрицы, подписав ее псевдонимом - и через день поместил в том же журнале возражение за своей подписью. Наш приятель Кауфман, редактор "Литографированной корреспонденции", обличил эту проделку, и об ней прокричали десятки журналов. Затем он предложил русскому посольству в Лондоне издавать правительственную газету. Но и Бруннов, как Палмеретон, еще не чувствовал настоятельной потребности в его услугах.

Тогда он просто попросил амнистию и тотчас получил ее с условием поступить на службу. Он испугался, стал торговаться о месте служения, просил, чтоб его взял к себе Суворов, бывший тогда генерал-губернатором остзейских провинций. Суворов согласился, Головин не поехал, а написал князю Горчакову письмо о своем свидении: он видел - государь призывает его в свой совет и что он с рвением ему благие дела советует

Сны не всегда сбываются, и, вместо места в царской думе, наш поседевший шалун чуть не попал в исправительный дом. Встретившись с каким-то коммерческим фактотумом Стерном, Головин, без гроша денег, поднялся на всякие спекуляции, забывая, что еще в 1846 имя его было выставлено в Париже на бирже, как человека нечисто играющего. Он хотел надуть Стерна - Стерн надул его; Головин прибегнул к своей методе: он поместил в журналах статью о Стерне, в которой коснулся его семейной жизни. Стерн взбесился и потребовал его к суду. Головин явился растерянный, непуган(394)ный к солиситору, он боялся тюрьмы, сильного штрафа, огласки. Солиситор предложил" ему подписать какой-то документ на мировую, он подписал полное отречение от сказанного. Солиситор скрепил, а Стерн, вылитографовавши документ и снабдив его facsimileм, разослал ко всем своим и головинским знакомым. Один экземпляр получил и я.

"4, Egremont Place, London. 29 мая 1857.

Милостивый государь! Так как Вы возбудили против меня дело о клевете по поводу некоторых моих устных и письменных заявлений, бросающих тень на Ваш характер, и так как Вы при посредничестве общих друзей согласились прекратить это дело в том случае, если я заплачу судебные издержки и откажусь от упомянутых заявлений, а также выражу сожаление, что сделал их, - то я с радостью принимаю эти условия и прошу Вас верить, что если что-либо из сказанного или написанного мною хотя бы в малейшей степени повредило Вам, я не имел такого намерения и крайне сожалею о том, что сделал и чего более никогда не повторит Ваш покорный -слуга.

И Головин.

Г-ну Е. Стерну. Свидетель Г. Эмпсон, адвокат".

Затем Лондон оказался решительно невозможным... Головин оставил его, увозя с собой целую портфель незаплаченных счетов - портных, сапожников, трактирщиков, домохозяев... Он уехал в Германию и вдруг как-то .скоропостижно женился. Замечательное событие это он телеграфировал в тот же день императору Александру II.

Года через два, проживши приданое жены, он напечатал в фельетоне какой-то газеты о несчастиях гениального человека, женатого на простой женщине, которая не может его понимать.

Затем я не слышал об нем больше пяти лет.

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
В начале польского восстания – новый опыт примириться: "Польские и русские друзья этого тр1|ук"т, ждут!" – Я промолчал.

...В начале 1865 я встретил в Париже какого-то сгорбившегося старика, с осунувшимся лицом, в поношенной шляпе, в поношенном пальто... Было ветрено и (395) очень холодно... Я шел на чтение к А. Дюма... которое тоже было ветрено – и вяло. Старик прятался в воротник; проходя, он, не глядя на меня, пробормотал: "Отзвонил!" – и пошел далее. Я приостановился... Головин шел прежней тяжелой ступней, не оборачивался, – пошел и я. Остановился я затем, что раза два он встречался со мной на лондонских улицах; раз он пробормотал: "Экой злой!" – другой – сказал себе что-то под нос, вероятно обругал, но я не слышал, и ко мне он не обращался, а начинать с ним уличную историю мне не хотелось. Он рассказал впоследствии Савичу и Савашкевичу, что, встретившись, обругал меня, а я промолчал.

– Что же Головин здесь делает? – спросил я того же Голынского, о котором упомянул.

– Плохо ему; он сделался брокантером, менялой, покупает скверные картины, надувает ими дураков, а большей частью сам бывает надут... Старее, брезжит, пишет иногда статьи, которые никто не печатает, не может вам простить ваши успехи... и ругает вас на чем свет стоит.

...Сношений между нами не было с тех пор. Но через годы, когда всего менее ждешь, – получается письмо... то с предложением примириться, по просьбе каких-то поляков, то с какой-нибудь бранью. С нашей – ни слова ответа.

Я вздумал, как ни скучно, записать наши похождения и для этого развернул уцелевшие письма его. В то время как я взялся за перо и написал первые строки, мне подали письмо руки Головина. Вот оно, как достойный эпилог:

Александр Иванович!

Напоминаю .я Вам о себе редко, но разнесся слух, что вы "умываете себе руки" и сходите с колокольни.

По-моему, не берись за гуж, а взявшись за гуж, не говори, что дуж.

Ваши средства вам позволяют издавать "Колокол" и при потере. Если можно, поместите письмо, при сем приложенное.

Головин. (396)

Г-ну Каткову, редактору "Московских ведомостей" Милостивый государь!

Извините меня, если я не знаю вас ни по имени, ни по отчеству, знаю вас только за вашу слепую ненависть к полякам, в которых вы не признаете ни людей, ни славян, знаю также за ваше незнание европейских вопросов.

Мне говорят, что в вашем журнале была фраза:

"Дерптское перо сожалеет об России и утопает в ничтожестве" или нечто подобное. Я жалею Россию, жалею опричничество и неурядицу ее, жалею дворянство, которое принуждено делать фальшивые ассигнации и фальшивые билеты лотерейные, так что в настоящую минуту представлено три билета, выигравших сто тысяч рублей, и никто не может отличить, который настоящий, жалею упивающихся крестьян, ворующих чиновников и священников, врущих вздор; но я знаю, что на Руси не красно жить.

Угодно было его величеству не велеть мне прописать в паспорт глупый чин, добытый мною в университете, и я записал в его формулярный список титул благонамеренного, который ему и остается, так что написанное пером не вырубается и топором.

Украли у меня отечество за политическую экономию; я вспомнил, что я человек прежде нежели русский и служу человечеству – поприще гораздо большее, нежели служба государственная, которую мне возлагали в обязанность.

В моих глазах я не упал, а поднялся. Слышал я, что если б приехал, то заперли бы

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru меня в дом умалишенных; но надо было бы выпустить много крови, чтоб ослабел мой мозг, – операция, известная под 53 градусом северной широты против людей, которым есть с чего сходить.

Имею честь быть ваш покорный слуга.

Ив. Головин. Париж, февр. 1166. (397)

1 Скажите просто: русский полковник желает видеть. – Господин никогда не принимает по утрам и.. – Завтра я уезжаю. – Ваше имя, сударь? – Да вы скажите, русский полковник (франц.).

2 В чем дело? – Это вы? – Да, это я (франц.).

1 Где мой экипаж? (от франц. On est mon cabriolet?)

2 Я, разумеется, не говорю о двух-трех эмигрантах. (Прим. А. И. Герцена.)

3 "Колокол", 1863 год. (Прим. А. И. Герцена.)

4 Милый В – ский попадал в удивительные просаки с английским языком. "Отсюда, – говорил он моему сыну, – судя по карте, недалек Кев?" – Я не слыхивал такого места. – "Помилуйте, там огромный ботанический сад и первая оранжерея в Европе". – Спросим у садовника. – Спросили, и он не знает. В ский развернул план. – "Да вот он возле самого Ришмон" – Это был Кью. (Прим. А. И. Герцена.)

5 "Былое и думы", часть I. (Прим. А. И. Герцена.)

6 страшно вымолвить (лат.).

7 судилище (от старонем Vehme).

8 непреклонностью (франц.).

9 Писано в 1864. (Прим. А. И. Герцена.)

10 Оставляются до полного издания. (Прим. А. И. Герцена.)

11 заочной (лат.).

12 Историю Трувеллера изложить стоит. В 1861 явился к нам молодой моряк; лет за десять перед тем я знал его мать в Ницце и помнил его мальчиком. Как его воспитывали, можно судить по тому, что лет восьми или девяти он говорил, что после бога и отца с матерью он никого не любит больше Николая Павловича.

– За что же вы его так любите? – спрашивал я его шутя,

– Он мой законный государь...

Дух такой в воспитанье, может, развили после 1848, – прежде ничего подобного у нас не было, и дети воспитывались равно без православия и самодержавия.

Жизнь излечила молодого человека. Он приехал к нам очень грустный и озабоченный. У него умер отец – и умер под судом, обвиняемый в разных злоупотреблениях по делу московской железной дороги. Он был новгородский помещик и взял какие-то подряды. Сын был уверен в невинности отца и решился во что б ни стало восстановить доброе имя его. Все, что он пробовал а России, не удалось ему, и он явился к нам с портфелем бумаг, контрактов, сенатских записок, экстрактов. Разобрать их и составить из них записку для "Колокола" было дело не шуточное. По счастью, оказалось, что Трувеллер – товарищ по университету Кельсиева, ему-то и поручили мы ее составление.

В Трувеллере поражало что-то твердое, печальное и детское вместе. Сильно работало в его груди, буравило его – в "законного государя" он не верил больше – и с глубоким негодованием говорил о скверном обращении с матросами. В самое то время у нас шла забавная переписка с частью офицеров "Великого адмирала". Командир его, помнится, Андреев – beau parleur (краснобай (франц.)), константиновский либерал и тогда в фавёре у великого князя, тоже мучил людей и

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru бранил офицеров, как и не либералы. Помнится, у него был лейтенант Стофреген, который не только зверски наказывал, но защищал в теории (как впоследствии князь Витгенштейн) военное палачество.

Мы поместили как-то в "Колоколе" несколько слов об этом. Вдруг получаем из Пирея ответ от имени большинства офицеров – что это неправда... от имени, но без имени. И как писанное письмо было без подписи, оттого мы и не поместили десятой доли того, что в нем было, помещенную же нами часть мы знали от десяти других офицеров. Поэтому мы коллективного письма не напечатали. Спустя несколько месяцев приехал Трувеллер во второй раз; я ему показал письмо офицеров, защищавших, не поднимая забрала, своего командира. Трувеллер вспыхнул, – он был уверен, что это интрига, и в доказательство привел несколько фактов. Я записал их на всякий случай и прочел Трувеллеру в другое посещение. Он нахмурился... Ну, думаю я, испугался.

– Позвольте вашу записку.

– Извольте.

Он ее прочитал, взял перо и подписал.

– Что вы делаете? – спросил я.

– А то, чтоб мои показания не были также безыменны. Уплывая из Лондона, он накупил целую кипу "что нужно народу?", "Колокола" и других вещей. Я об этом ничего не знал, – он простился и отправился в Россию. В Портсмуте он имел неосторожность раздать экземпляры, накупленные им, матросам. Кто-то донес, и началось дело, которое сгубило его. Вот его ответы и письмо к матери.

Это была героическая натура, и он, конечно, не скажет, что мы погубили его, – как нас винят многие. (Прим. А. И. Герцена.).

13 Большой выставке (англ.).

14 образчика (англ.).

15 таможня (англ.).

16 водворен (от франц. installer).

17 рейтузами (франц.).

18 вальс Герцена (нем.).

19 кадрили Огарева (англ.).

20 "Симфония освобождения" (франц.).

21 вальс Потапова (нем.).

22 вальс Мияы (нем.).

23 партитуру Комиссарова (нем.).

24 правая рука (лат.).

25 славная операция (франц.).

26 здоровым и невредимым (франц.).

27 воодушевления (франц.).

28 служителей культа (от англ. clergyman).

29 Петрашевцами заключается у нас фаланга сильно занимавшихся юношей – их можно назвать последним классом нашего учебно-исторического развития. (Прим. А. И. Герцена).

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
30 страстной четверг (франц.).

31 невозможное (франц.).

32 тетради, выпуски (от франц. livraison).

33 усидчивость (нем.).

34 И вот эта ужасная "Тульчинская агенция", имевшая сношения со всемирной революцией, поджигавшая русские деревни на деньги из маодиниевских касс, грозно действовавшая года через два после того, как перестала существовать.. и теперь еще поминаемая в литературе сыщиков и в "Полицейских ведомостях" Каткова. (Прим. А. И. Герцена.).

35 надменный, непреклонный (франц.).

36 к оружию, граждане! (франц.).

37 совершенно потерял почву (франц.).

38 Гадина будет раздавлена (франц.).

39 перерывы, пробелы (от франц. hiatus).

40 Самолюбие их не было так велико, как задорно и раздражительно, а главное - невоздержно на слова. Они не могли скрыть ни зависти, ни своего рода щепетильного требования чинопочитанья по рангу, им присвоенному. При этом сами они смотрели на все свысока и постоянно трунили друг над другом, отчего их дружбы никогда не продолжались дольше месяца. (Прим. А. И. Герцена.).

41 дележ добычи (турецк.).

42 аккредитив на Маркизские острова (франц.).

43 вклад (от франц. depot).

44 В то самое время в Петербурге и Москве, даже в Казани и Харькове образовывались между университетской молодежью круги, серьезно посвящавшие себя изучению науки, особенно между медиками. Честно и добросовестно трудились они, но, устранные от бойкого участия в вопросах дня, они не были вынуждены покидать России, и мы их почти вовсе не знали. (Прим. А. И. Герцена.).

45 сорванцы (франц.).

46 за и против (лат.).

47 О Бакунине в IV "Былого и дум", в главе "Сазонов". (Прим. Л. И. Герцена.).

48 Страсть к разрушению есть страсть созидаящая (нем.).

49 "Истинная республика"... Учредительного собрания (франц.).

50 равенство заработной платы (франц.).

51 непрерывную (франц.).

52 поцелуем (от франц. accolade).

53 что за человек! что за человек! (франц.).

54 "Скажите Косидьеру, - говорил я шутя его приятелям, - что тем-то Бакунин и отличается от него, что и Косидьер славный человек, но что его лучше бы расстрелять накануне революции". Впоследствии, в Лондоне в 1854 году, я ему помянул об этом. Префект в изгнании только ударял огромным кулаком своим в молодецкую грудь с той силой, с которой вбивают сваи в землю, и говорил: "Здесь ношу Бакунина... Здесь" (Прим. А. И. Герцена)

55 образованны в слишком классическом духе (нем.).

56 императорско-королевскую (нем. kaiserliche-konigliche).

57 добрыми друзьями (франц.).

58 заговоры (от франц. complot).

59 богема с Бургунской улицы (франц.).

60 Когда в споре Бакунин, увлекаясь, с громом и треском обрушивал на голову противника облаву брани, которой бы никому не простили, Бакунину прощали, - и я первый. Мартьянов, бывало, говаривал "Это, Олександр Иванович, - большая Лиза, как же на нее сердиться - дитя!" (Прим. А. И. Герцена.).

61 усаживает его поудобнее (франц.).

62 в ромбиках (франц.).

63 Бакунин ничего не взял за невестой. (Прим. А. И. Герцена.)

64 исправлений (от франц. rectification).

65 эта нерешительность (нем.).

66 поневоле (франц.).

67 волей-неволей (лат.).

68 "колокол", 1862. (Прим. А. И. Герцена.)

69 исповедание веры (франц.).

70 Ключ, ключ! (англ.).

71 в меблированных комнатах (англ.).

72 выдвинуться (франц.).

73 соображения (от франц. considération).

74 Лапинский-полковник. Поллес-адъютант (франц.).

75 Позвольте детям приходить (лат.).

76 дитя (лат.).

77 в будущем (лат.).

78 Я к вам пришел спросить совета, - сказал мне один юный грузин, похожий на молодого тигра... снаружи. - Я хочу поколотить Скарятину... - Вы, верно, знаете, что Карла V... - Знаю, знаю! Бога ради не рассказывайте! - и тигр с млеко в жилах ушел. (Прим. А. И. Герцена.)

79 платформу (от франц. embarcadeie).

80 Домантович, после долгих споров с Бакуниным, говорил: "А ведь что, господа, как ни тяжело с русским правительством, а все же наше положение при нем лучше, чем то, которое нам приготовят эти фанатики-социалисты" (Прим А. И. Герцена)

81 "Польша и дело порядка" (франц.).

82 Отец в. Печерин (лат).

83 его преподобие Печерин? (англ.).

84 преподобного отца Печерина (англ.).

85 отец Печерин будет в восторге принять меня через минуту (франц.).

86 столовую, трапезную (от англ. Refectory).

87 Вы немец? – О нет, сударь... я почти ваш земляк, я поляк (нем.).

88 не на шутку (франц.).

89 Выйдем на минутку в сад, погода так хороша, а это так редко бывает в Лондоне.
– С величайшим удовольствием (франц.).

90 Jesus Misericors, J̄sus Ālmus – .Иисус милосердный, Иисус благодатный (лат.).

91 будемте откровенны (франц.).

92 наскоро (франц.).

93 передовых статей парижских или лондонских газет (франц.).

94 с точки зрения вечности (лат.).

95 преподобный отец Владимир Печерин, родом русский (англ).

96 Назовите их, назовите их (франц.).

97 как попало (франц.).

98 бахвал (франц.).

99 мошенник (от англ. Swindier).

100 в стране неверных (лат).

101 "Россия под Николаем" (франц.).

102 А propos <по поводу (франц.)> его братии. Один из них, кавалерийский генерал, бывший в особой милости Николая, потому что отличился 14 декабря офицером, приехал к Дубельту со следующим вопросом: "Умиравшая мать, – говорил он, – написала несколько слов на прощанье сыну Ивану... тому... несчастному... Вот письмо... Я, право, не знаю, что мне делать?" – Снести на почту, – сказал, любезно улыбаясь, Дубельт. (Прим. А. И. Герцена.)

103 внешнее приличие (франц.).

104 чистильщик (от франц. savoyard).

105 французская полиция не могла ему простить одну проделку. В начале 1849 была небольшая демонстрация. Президент, то есть Наполеон III, объезжал верхом бульвары. Вдруг Головин продрался к нему и закричал: "Vive la R̄publique" и "A bas les ministres" "Да здравствует республика" и "Долой министров" (франц.)>. "Vive le R̄publique!" – пробормотал Наполеон. "Et les ministres?" – "On les changera!" ("А министры?" – "Их сменят!" (франц.)). Головин протянул ему руку. Пошло дней пять, министры остались, и Головин напечатал в "R̄forme" свою встречу с прибавлением, что так как президент не исполнил обещания, то он берет назад свое рукожатье (il retire sa poigne de main). Полиция промолчала и выслала его, несколько месяцев спустя, придравшись к 13 июню. (Прим. А. И. Герцена.)

106 приблизительно (франц.).

107 поражение (итал.).

108 авантюриста (франц).

109 суда чести (франц.).

110 бурным (от франц. f̄r̄n̄ȳt̄ique).

111 всеобщего (от польск. powszechny.)

Былое и думы (Часть 7). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

112 забияки (от франц. matamore).

113 Не будем об этом больше говорить (франц.).

114 тупик (франц.).

115 совершившийся факт (франц.).

116 Дело идет не о деньгах (франц.).

117 "Morning Advertiser", тогда именно попавшийся в руки К. Блинда и немецких демократов марксовского толка, – поместил глупейшую статью, в которой доказывал единство видов моей пропаганды с русским правительством. Головин, дающий такие хорошие советы, сам впоследствии прибегнул к тем же средствам и в том же "Morning Advertiser" (Прим А. И. Герцена.)

118 Для собственного употребления (лат.).

119 края (от франц. Parage).

120 простак (от англ. Simieton).

121 знаменитостью (от нем. Beruhmt).

122 золотоискателем (от англ. gold-digger).

123 рабовладельцем (от англ. sictve-holder).

124 закону Линча (англ.).

125 бахвалам (франц.).

126 послания (от франц. Missive).

127 Вы желаете войны, – вы ее получите (франц.).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://herzenalexander.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!